

1056

Борис Соколов

ОТЕХ, КТО ИЩЕТ



ПЛАМЯ

ПРАГА



Семь смеченных
участков Д. Бессено, Бел
устье. Кос. водоемов
Кудрино



06 10

БОРИС СОКОЛОВ

ОТЕХ, КТО ИЩЕТ

(ЧЕШСКИЕ СИЛУЭТЫ)

Нак. Льв. обл.
ч 70(11) 1940
114-44.

Львів. Бібліотека
А. УРСР



54056

П Р А Г А

T3(47)/5-7

ОБЛОЖКА И РИСУНКИ
ХУД. ВАЦЛАВА ШПАЛЫ



1926

ТИПОГРАФИЯ „LEGIOTRAFIE“,
PRAHA-VRŠOVICE, SÁMOVA 665

1047

ПОСВЯЩАЕТСЯ
ОТАКАРУ БРЖЕЗИНЕ

*„Жизнь покоится на
творчестве, порож-
денном Энтелехией“.*

Пять лет тому назад мне пришлось провести несколько месяцев в Чехословакии. И эти месяцы с интересом неослабеваемым я знакомился с литературой, историей, бытом, прошлым и настоящим чехословацкого народа.

Обстоятельства заставили меня надолго покинуть эту страну.

Но от пребывания моего в Праге сохранился у меня ряд заметок, множество впечатлений, записанных и отмеченных, несколько очерков, почти законченных.

Я долго колебался их печатать.

И только после вторичного приезда в Чехию и после пополнений моих первоначальных впечатлений рядом новых — я решился на их издание.

Мои очерки посвящены только одному вопросу, который больше всего интересовал и интересуется меня — душе чешского народа. В понятие „душа народа“ я отнюдь не склонен вкладывать какого-либо мистического начала. Но мои биологические воззрения заставляют меня полагать, что национальность стоит в тесной связи и зависимости от расовых качеств данного „рода“.

И я не принадлежу к числу тех, которые готовы отказать в значении каким-либо расовым признакам.

Даже видоизмененный, благодаря внешней среде и примеси чужой крови, голос прошлого оказывается нередко весьма могущественным.

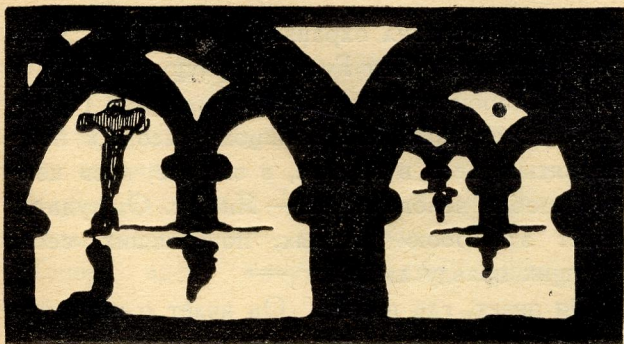
И с этой именно точки зрения особенно интересовал меня Чешский Народ и его „Душа“.

Наследственность расовая и влияние благоприобретенное Запада — два фактора, взаимная борьба которых кажется мне порою ясно выявленной у многих чехов.

Я не пошел по пути научного и методического изложения затрагиваемого мною вопроса и ограничился исключительно литературным очерком. Но в основе этих очерков положены тщательное изучение и подробный анализ всего того, что прямо или косвенно имеет отношение к „расовым особенностям“ Чешского Народа.

Прага. Март 1926.

В СТАРОЙ ПРАГЕ



Город преданий. Город, полный сказок и слов лучезарных, красивых. Таинственных.

Узкие улицы. Тяжелые, железом обитые массивные двери домов. Окна небольшие, с рамами плоскими, странно блестящими: — точно светло-живые глаза.

Переходы лестничатые, частые и причудливые — от дома к дому. Ночью — жуткие, шумом неясных и страшных голосов полные.

Ниши в домах. А в нишах фигуры святых. Фигуры Девы Пречистой, Яна Непомука.

На мосту старом, Карловом, у древних домов, на перекрестках улиц — те же фигуры. Всюду святые. Словно католицизм торжеству-

ьющий их поставил охранять душу Праги, душу по сожженному Яну Гусу тоскующую.

На Староместском Намести, площади городской, стоит памятник. С лицом, высоко к небу поднятым, весь в порыве, в экстазе, весь полный любви человеческой — Ян Гус. Он куда-то зовет за собою усталых, потерявших себя, ищущих правду людей.

Он знает, где правда. Он знает о том, что давно позабыли те, что суду его предали. Те, что сожгли его на костре.

„Пойдемте за мною — я счастье правды вам дам“.

Среди старых домов — слегка покосившихся — стоит церковь. Маленькая, внутри темная. В ней тихо всегда. Сюда стекались искатели правды, чехи, слушать того, кто позже стал для них пророком, святым.

Вечером, когда трамваев звонки не тревожат спокойствия пражских улиц, слышен голос, так говорят, тихий, неясный — Яна Гуса.

Кого-то зовущий. Кого-то просящий.

На самом верху, на Градчанах, над пропастью-

рвом, густо зеленым, ряд домиков. Крошечных. Однооконных. Смешных и нелепых. Кухни с колбами разукрашенными. Кажется, словно здесь жили карлики.

Улица Алхимиков. Улица тех, кто в поисках правды вселенской — искал элексира.

Теперь здесь живут старушки-мещаночки пражские.

А ночью, когда спит Прага —

Когда всходит луна и сирень густо цветет, слышна игра, заунывная, долгая.

Играет на скрипке рыцарь-разбойник Далибор...

Башня, стареющая и грустная. В ней долгие месяцы он прикованный цепью сидел. За что? Кто знает... Говорят, хотел, чтобы чешский народ был свободным...

Брожу по кладбищу старому. Ряды могильных крестов, памятников, надписей обычных, надгробных.

Сначала немецкие. Только немецкие. Лежат чехи — но, видно, был чужд и далек им родной язык. Но вот попадаются нескладно написанные надписи чешские, со словами немецкими, вкра-

пленными часто. Вот, наконец, могилы новые, более свежие, людей ушедших в конце прошлого столетия. Всюду чешский язык. Немецких надписей нет. Они изгнаны даже с могил.

И только по прежнему господствует Ян Непомук над Яном Гусом.

Ян Непомук и Дева Пречистая.

Сижу в Златой Студне.

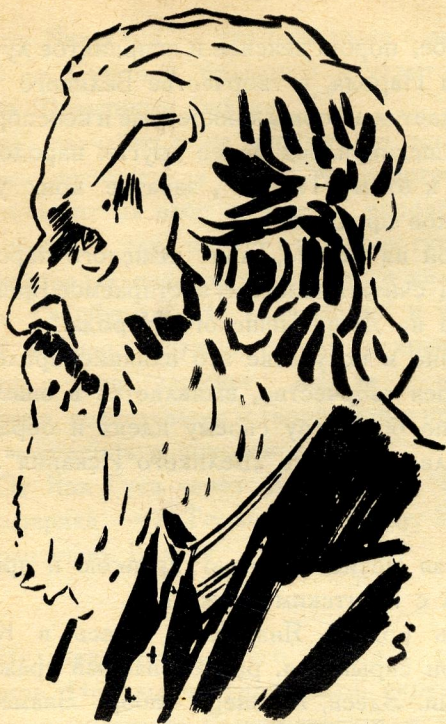
В ресторане старинном, под Градчанами, под стеною дворцовой.

Здесь, говорят, Петрарка песни свои певал чешским красавицам...

Внизу Прага золотая. Странная. Двойственная. Одна — полная мечтаний, таинственных, полная исканий. Прага мятущаяся, ищущая. Прага Яна Гуса. И рядом с ней, сжимая ее кольцом железным и прочным, ее окружает Прага другая. Вторая. Деловая. Чуждая мистики. Нашедшая правду свою в технике жизни. Далекая Гусу, европейски спокойная.

Две Праги. Две правды.

ФРАНТИШЕК БИЛЕК



Искусство отражает душу народа ярко и выпукло.

В искусстве образом чудесным и порою неожиданным открываются настроения — глубоко подпочвенные — народной души.

Тайное, порою неясное и непринятое лучшими людьми Народа, в творчестве Великого Гения воплощается в формы конкретные и неоспоримые.

И чешский народ более других народов причастен к этим „Тайнам“, зачатие коих уходит в далекое прошлое.

Одной из таких „Тайн“ чешского народа мы должны считать влияние, нестираемое Временем, гусизма на Душу Чешского Народа.

Именно в искусстве это влияние, преломленное через творчество, выявляется в ошеломляющих по богатству своему идеях и образах.

В силе и размахе „Великого Искания“.

Южная Чехия памятью крепкою и прочною связана с гуситским движением.

Здесь родина Яна Гуса. Здесь в Козьем Граде он скрывался, разыскиваемый пражскими властями. Здесь, наконец, Табор. Знаменитый Табор гуситов, в прошлом — центр, куда со всей Чехии стекались защитники и поклонники великого проповедника и где Жижка успешно и долго отстаивал вооруженною силою право своего народа на свободную веру.

И причудливым образом родина — родные

места Яна Гуса — связаны ныне с другим именем — с именем большого скульптора-художника Франтишка Билека.

Не случайно и не странно — есть в этой связи несомненная — что творчество последнего носит на себе отпечаток мировоззрения и настроений, таит в себе отголосок гусизма, движения задавленного, задушенного железною рукою Габсбургов. Но задушенный и уничтоженный внешне, наружно, гусизм сохранился, однако, в душе чешского народа и вспышками яркими, гениальными и творческими проявляется из поколения в поколение.

От Яна Гуса через Коменского, Коллара и Шафарика — к Томашу Масарику, Бржезине и Франтишку Билеку.

Недалеко от Козьего Городка расположен Хинов. Небольшой город-село, окруженный полями и редкими, расчищенными и полувыврубленными лесами.

На самой окраине — у дороги пыльной, проезжей — дом. Над его воротами, простыми, обычно деревенскими — висит вывеска:

„Карл Билек каретный мастер“.

А сзади этого дома, тесно к нему прилегая, — другой дом столь же деревенский, простой, полукрестьянский.

Здесь живет Франтишек Билек, художник, скульптор.

Сын дровосека, брат каретного мастера, он душою своею и жизнью тесно связан с чешским крестьянством. Плоть от плоти последнего, он с гордостью нескрываемой утверждает свое крестьянство, ему близкое, ему дорогое. И в крестьянстве видит он не повседневность кропотливую, не кулачество или зажиточность, а искания и желания людей разрешить вопрос — „жизни земли“.

В славянах же — этом необъятном племени крестьянском — видит он заповедных носителей идей всечеловеческих, нашедших своих выявителей и пророков в лице:

Яна Гуса, Коменского и Толстого.

С отцом он любил уходить в лес.

И с интересом, обостренным, с юношеским любопытством прислушивался к жизни деревьев.

„Растут деревья, живые и странные.

Сердитые и добрые.

Старый дуб. Корявый. Злой“.

И боится мальчик его.

Стариком ворчливым кажется ему дуб.

И оставив отца, в глубь леса убегает мальчик
Недоуменный и очарованный силится он по-
нять язык деревьев.

„Зовут. Переговариваются. О чем они шепчутся?

И когда, подрубленное его отцом — дерево
падало на землю — со стоном и точно плача, —
мальчик, обеспокоенный и опечаленный, подбе-
гает к упавшему дереву и ласкает его своей
детской ручонкой.

Лес, деревья — были для Билека-отрока жи-
выми, близкими и родными.

С деревьями, с ними охотнее, чем с людьми,
мог он проводить долгие часы в неустанной
дружеской беседе.

Он делится с ними своими горестями и ра-
достями. Своими мыслями и надеждами. Были
у него здесь свои враги и свои друзья.

Дуб — не был его другом.

„Папа, он злой. И листья его нехорошие. И слова, слушаешь его, непонятные“.

И липа, свежая и покорная, казалась ему сестрой ласковой и нежной.

Деревья — души умерших.

И в порыве немом, к небу устремленным, стремятся души-деревья уйти от земли.

И стонут и плачут.

Но злая земля крепко держит их руками мокрыми-скользкими.

И мальчик не любит землю, ненавидит ее.

И любовь к деревьям, к дереву в представлении Билека одушевленному, осталась у него на всю жизнь. И творчество свое, как скульптора — нашел Билек в дереве. Еще мальчиком простым перочинным ножом стал он вырезать лица людей на срубленных липах.

И довольный смеялся.

„Папа, смотри — Липа — снова живая“.

Большая комната, заставленная эскизами, набросками, начатыми и оконченными.

И сам Билек — с лицом удивительнейшим, с лицом славянского пророка, чем-то напоминающий Толстого.

Открытый лоб. Спадающие длинные волосы. Борода небольшая и добрая.

И только глаза и брови не толстовские: спокойные, ясные, нашедшие себя.

Всюду Христос.

„Вот путь человечества. Разве не похоже последнее на метеор, упавший на землю. И разве путь его не есть путь исканий и страданий?

Пророки. Сколько их? — Десятки, сотни, тысячи...

И среди них Иисус Христос...

Перед мною Христос распятый. Пригвожденный ко кресту.

Христос и не Христос.

Усталый, больной, измученный, худой. Христос-человек. Не Бог, не полу-Бог, не Богочеловек. А простой, больной, замученный человек.

И только одно роднит его с Богом — выражение лица.

„Отче, не верую я, а знаю Тебя“.

Так твердо и несокрушимо говорят его глаза, рот, все его лицо.

И когда по пути своему на Голгофу Христос падает под тяжестью креста своего — остается лицо, выражение лица его прежним.

Не человеческим, а надчеловеческим.

Ибо знает он, не верит, а знает — силу правды своей, правды своего тернистого пути.

И позже, на кресте, умирающий и по-человечески просто страдающий, Христос внежизнен. Он вне жизни и над жизнью. Как только может быть таковым человек знающий и в знании своем глубоко непобедимый.

И в серии изображений Христа, созданных руками чешского скульптора, этот мотив, эта божественная человечность Христа проходит оригинальнейшим, новым образом.

Вдали стоят слепые.

Две статуи, слепленные с мастерством неподражаемым, с талантом неоспоримым.

С тем умением, которое говорит о гениальности артиста, о мощности его таланта.

Фигуры простые и странные.

Слепые, но точно зрячие.

Ищущие и словно нашедшие.

И кажется, что эти две женщины, убогие, зрения лишенные, видят лучше зрячих, лучше здоровых людей.

Ибо есть в них уверенность. Есть в них „знание правды жизни“.

„Слепые о Господе. Слепые во Господе“.

„Не видим, но знаем Тебя“.

Многие, очень многие считают Билека мистиком, мистиком религиозным, немного православным.

„Его Христос. Его лики апостолов.

Его пророки и святые“.

„Впервые славянство нашло себя в религии таким художественным, таким глубоко странным образом.

„И сколь чудесно, что мистицизм в славянстве отразился в творениях скульптора, народ которого так близок Европе.

„Билек не только большой скульптор. Он

философ. И в философии своей он мистичен. Глубоко и искренне, по-славянски“.

„Скульптор-мистик, славянин, нашедший православного Христа, в исканиях своих неправославных“.

„Я не мистик. Я не символист. Чужд и далек я этому слову и содержанию, скрытому в нем.

Мистицизм, неизвестное, таинственное, быть может светлое, яркое, быть может кроважное, черное, подобное пропасти. Лес без тропинки, с выходом, ведущим в неизвестность.

Мистицизм.

Нет, я не мистик. И называющий меня таковым глубокое, досадное непонимание меня проявляет. Нежелание понять меня. Нежелание уяснить сущность моих исканий — моих путей, творческого моего „я“.

Мой Христос?

Но взгляните в него, присмотритесь не глазами вашими только, прикоснитесь краем души вашей к правде его. Прикоснитесь — вы увидите, сколь чужд мистицизму мой Христос. Далек мистицизму. Мои Христос — от земли. Он — человек, человек, желающий царство небесное на земле построить...

Он все знает — наибольшее, самое важное.

Правду жизни. Свой путь. Свою дорогу.

Тернии и шипы, крест и кровь — это неизбежное, Богом данное, на землю с неба пришедшее.

Мой Христос — православный Христос, тот подлинный, на землю пришедший и церковь на земле желающий строить, тот Христос, что можно увидеть на иконах древне-русских. Христос от земли. Христос-человек.

Нет, я не мистик.

Разве я мистик? Ибо я не верую в Бога, а знаю его. Твердо и ясно.

И славянскую душу, широкую, болеющую, — разве я верую в нее — нет. Я знаю ее. Я не верую, но знаю.

Разве есть место мистике в моей душе. Нет, конечно нет.

И только незнающие, не желающие творчество, лицо и душу мою подлинно, глубинно узнать, только они могут считать меня мистиком“.

И немного взволнованный, — словно вопрос, мною задетый, касается места в его душе особенно больного, — Билек снова и снова стал

водить меня по своему ателье, показывая одно за другим свои эскизы, наброски, картины и скульптуры.

„Недавно профессор Гербен, наш известный историк, сказал мне:

— Билек, вы для меня чужой, непонятный.

И то, что сказал Гербен, я знаю, чувствуют и другие, многие, быть может очень многие. Чувствуют, но не говорят. Но я благодарен был Гербену за правду и искренность.

Я знаю — понимающие Яна Гуса должны понимать и меня. Ибо есть у чешского народа два пути. С одной стороны — славянство, восток, искание истины и правды, желание решить вопрос Божества. Вера в идеалы. Вера столь сильная, что поднимает она больного и немощного и заставляет его брести в поисках потерянной истины. Иисус Христос, воплощенный в Яна Гуса, принявшего крест во имя чешского народа. Больше того, во имя славянства.

С другой стороны — западная Европа, со своим Яном Непомуком, давшая Юма, Канта, цивилизацию и технику. И чешский народ, на стыке двух Европ стоящий, — Европы западной и Европы восточной, — два пути принял.

Два пути разных — и в то же время к од-

ному, к одной цели ведущих. К тому, чтобы просветленный и вновь принятый Христос, Христос-Человек, Христос — символ всеобщего разума, всеобщей любви в себе совмещающий, был бы принят землей.

И не надо смущаться тем, что идущие по пути разума, по пути западному, не понимают и не могут понять нас, идущих по пути, Яном Гусом начертанном“...

Отражая в себе мятежные искания жизни — Билек не мог пройти мимо христианства.

Это очевидно. Это понятно.

И так же понятно, что христианство было для него не отвлечением, но повседневностью, — землею рожденные искания правды обыденной и ясной.

Правда Дня Сегодняшнего и Завтрашнего.

Славянин, крестьянин, он вместе с тем был многие годы учеником Родена.

Здесь, в школе французского скульптора, овладел он техникой искусства, здесь уразумел он радости монументальности, здесь его талант

нашел путь своего бурного, мятежного творчества.

И неправильно считать Билека художником религиозным, чуть не церковником.

Его творчество выходит далеко за рамки религиозных исканий.

Жизнь в ее целом.

Жизни порыв, ее ритм, тот не поддающийся учету и математическому анализу ритм, который ведет человечество в неизвестность. Этому ритму посвящены искания чешского скульптора.

И всю творческую деятельность Билека можно разделить на три цикла.

Первый цикл — барельефы характера религиозного. Это путь Христа на Голгофу. Это цикл исканий религиозных, христианских, почти православных.

Второй цикл „Путь Человеческий“ открывается барельефом на дереве „Метеором“. Камень жадный и хищный с чертами человеческими несет из бездны в вечность в поисках истины. Улыбка Камня, понявшего Жизнь.

Разгул Зверя и Правда Святого.

И барельефы второго цикла — их множество — рисуют нам сложную борьбу человечества,

рожденного землею, с инстинктами порожденными его прошлым, во имя правды надчеловеческой, правды завтрашнего дня.

Во имя Идеи.

Идея побеждает.

Она не может не победить.

И на расстоянии сотен веков и тысячелетий Великая Идея влечет за собой человечество.

Детей земли, по земле рассеянных и с землею целующихся.

Третий цикл — революция чешская.

Путь народа чешского, верного сына Яна Гуса.

И в этом цикле, еще не законченном, над ним теперь работает маститый скульптор, — та же мысль ясными штрихами начертана.

Из земли — деревья растут.

Души ушедших людей.

И творчеством своим скульптор снова к жизни их зовет.

Чешские братья!

Измученные, худые, изможденные. Простые и бесхитростные. В непосильной борьбе за правду — ежедневную и упорную — они изнемогли. На них рубища. И тела их просят покоя, отдыха. Но „правда“ побеждена. И нет

для них покоя, нет радости успокоения. Ибо должны они следовать завету своего учителя и искать Ее, людьми забытую.

Защищать Ее — всеми проклятую.

Жижка — знающий Слово.

Жижка — принявший борьбу.

Для него нет колебаний и сомнений, которым не был чужд Ян Гус.

Борьба со злом — имеет только одну дорогу — одно решение. Или победа или поражение. И твердо, без колебаний зовет Жижка за собой — на кровавую борьбу чешских братьев. И в этой борьбе не могут остановить его беспомощные и жалкие фигуры его жены и ребенка.

Сожжен Ян Гус.

Побежден Жижка.

Рассеяны по свету чешские братья.

Проходят века.

И великая в своем нарастании грядет революция, несущая освобождение чешскому народу.

Побеждает Идея.

Слово, брошенное Гусом.

Слово, сказанное им и чешскими братьями.

Слово не умерло.

Века — маленьким, незаметным пятнышком на душе чешского народа — оно жило.

Оно не умерло, ибо оноечно.

Ибо за словом этим была Правда.

Тяжелыми шагами шел чешский народ эти столетия.

Беспросветным был путь.

Но „Слово-Идея“ через людей своих, людей Яна Гуса, будило надежду в усталом народе.

Коменский и Гавличек и десятки других — и неизбежное совершилось.

Пришло освобождение.

Слово Гуса победило...

И памятник, величественный и грандиозный хочет создать Франтишек Билек этой идее, этому слову, сказанному Гусом.

Памятник освобожденной Чехии на месте гибели чешских героев на Белой Горе.

На кладбище Хиновском, старом, нескладном, окруженном деревьями, пропитанном запахом

неспелой ржи и бурной березы стоит памятник.

Волнами бурными и тяжелыми земля поднимается.

Земля серая, хмурая.

И волны земли укрыли фигуру человеческую одеждой широкой и мягкой.

„Вы в землю ушли, но жизни вы принадлежите душой вашей, извечной и родной“.

Памятник этот создан скульптором на могиле своих родителей.

„Бессмертие, смертью рожденное“.

ТОМАШ ГАРРИГ МАСАРИК

MINIATAM INTIAT IUMOTI

MINIATAM INTIAT IUMOTI

MINIATAM INTIAT IUMOTI

MINIATAM INTIAT IUMOTI

MINIATAM INTIAT IUMOTI

MINIATAM INTIAT IUMOTI

MINIATAM INTIAT IUMOTI

MINIATAM INTIAT IUMOTI

MINIATAM INTIAT IUMOTI

MINIATAM INTIAT IUMOTI

MINIATAM INTIAT IUMOTI

MINIATAM INTIAT IUMOTI

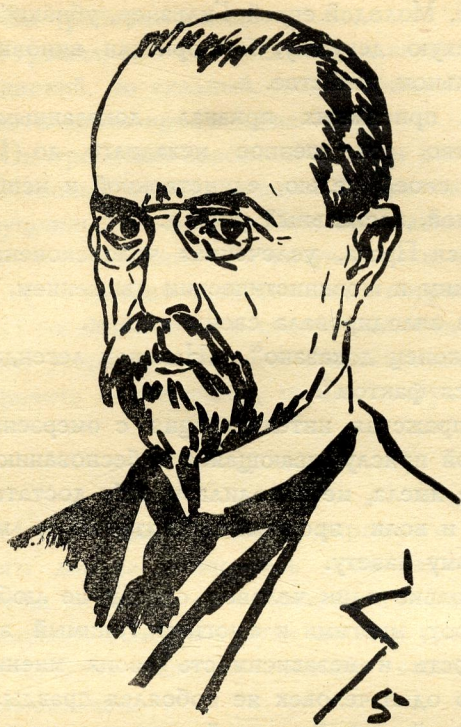
MINIATAM INTIAT IUMOTI

MINIATAM INTIAT IUMOTI

MINIATAM INTIAT IUMOTI

MINIATAM INTIAT IUMOTI

MINIATAM INTIAT IUMOTI



Это было в 1899 году.

Вся Прага взволнована и встревожена.

Пražский суд присяжных вынес, наконец, решение по делу, которое так интересовало всю

Чехию. Молодой еврей, Гильзнер, убивший христианскую девушку, был признан виновным в ритуальном убийстве.

Суд присяжных признал доказанным, что убийство, совершенное незадолго до Пасхи, имело своей целью, единственной и непосредственной, пасхальный ритуал.

И вся Прага, увлеченная человеконенавистническим и шовинистическим движением, ликовала и аплодировала своим судьям.

„Наконец доказано“. „Наконец легенда становится фактом“.

А пражская интеллигенция, с омерзением и досадой прислушивающаяся к беснованию улицы, не имела, не находила в себе достаточных силы и воли противопоставить свое мнение гнусному навету.

И только один человек, отнюдь не любимый, наоборот, многими и многими гонимый за искренность и независимость своих мнений, — только один человек не побоялся правды.

Статьей резкой, смелой, которую не хотели, которую боялись печатать газеты, статьей в „Neue Freie Presse“ он заклеил этот приговор, как постыдный, как подлый, как недостойный культурных и честных людей.

Он требовал нового суда.

Угрожал, что он, пред лицом всего мира, он, одинокий, но сильный своей правдой, откроет всю низость происшедшего.

Он требовал нового суда и он его добился.

И новый суд присяжных — пристыженный и смущенный — должен был признать:

„обвинение в ритуальности недоказанным, неосновательным и неправильным“.

И тогда толпа всю свою ненависть, весь свой гнев устремила на того, кто осмелился противоречить ее желаниям, ее инстинкту.

И по ночам под окнами скромного двухэтажного домика собиралась пражская молодежь, чтобы показать свое презрение и ненависть к человеку, осмелившемуся сказать правду.

Разбитые камнями оконные стекла, крики, улюлюканье.

Его лекции в эти дни собирали аудиторию ему враждебную, его ненавидящую.

Большинство студентов требовало настойчиво, чтобы „изменник народному делу“ ушел из университета.

И трогательную поддержку в эти тяжелые дни оказывала ему его жена.

В моменты, когда крики студентов становились особенно угрожающими и вот-вот казалось, что побьет толпа Человека, сказавшего правду, его жена подходила к кафедре, становилась около нее, как бы отдавая вместе с ним и себя на растерзание толпе.

И на улице, когда узнавала толпа его, проходящего, бесцеремонными и грубыми окриками провожала его до дому.

И не раз в эти дни, самые тяжелые и грустные в его жизни, перед ним вставал вопрос — не уехать ли, не бросить ли эту страну, в которой правда считается преступлением. Но минутная слабость проходила, и снова перед ним во весь рост становился императив: путем долгой и упорной работы вести народ к цели, завещанной всем прошлым последнего.

Этот человек, не побоявшийся публичной правды, этот человек был Томаш Масарик. Не раз до того и много раз после приходилось ему

во имя правды итти против настроения большинства, подвергаясь за это осуждению и преследованию.

Борьба за правду. Поиски ее — в отвлечении и в жизни. Поиски ее философские и повседневные.

Эта черта красной нитью проходит через всю жизнь Томаша Масарика.

Юный, — тринадцатилетний подмастерье-кузнец в маленьком моравском местечке Чейчи — он с пытливостью жадной силится понять жизнь, ее законы, он хочет выйти из узкого однообразно-тяжелого быта — деревенского ремесленника-рабочего.

Он читает, учится, — вечерами после дня утомительной и часто непосильной работы.

Попав — благодаря случаю — помощи одного из учителей реального густопеческого училища — в гимназию, он входит постепенно в круг вопросов человеческого Бытия.

Национальное самосознание, социализм и наконец вопросы религии — его интересуют и волнуют.

Он — 18-тилетний юноша — перестает быть —

слепо верующим католиком. Он критикует католицизм и отказывается — от веры своих отцов.

А когда директор гимназии — призывает его к компромиссу, к уступкам совести, к тому, чтобы он несмотря на свои разочарования в религии — ходил бы все же на исповедь „формально“ — Масарик отказался последовать этому совету. Он резко ответил директору,

И первым конфликтом за „Правду“ — закончилось его детство.

Он должен был покинуть гимназию.

Начав свою сознательную жизнь с борьбы за „Правду“ — Масарик неукоснительно и неуставая идет всю свою жизнь по этому пути.

Шел и идет.

Позже уже приват-доцентом Пражского Университета в 1886 году, Масарик вызвал недовольство широких слоев чешской интеллигенции и чешского народа своей борьбой против „рукописей“. Эта история интересна и показательна. Притесняемая австрийцами, лишенная прав на самостоятельность, упорно германизируемая — Чехия, в лице своих патриотов, тщательно собирает свои национальные ценности.

Исследуя историческое прошлое своей родины, эти патриоты желают найти в нем элементы, способствующие усилению национальной гордости, национального чувства... Увлеченный этими господствующими настроениями В. Ганка, писатель и профессор, создает фальшивые рукописи, которые в искаженном и неправильном виде в тонах прикрашенных изображают древне-чешскую историю, и которые утверждают фактом существовавшим легендарных Либушу и Ярослава. Эти рукописи, им же будто бы открытые при раскопках в Карловом Дворе и у Зеленой Горы, были приняты всем народом с энтузиазмом, без долгих сомнений, без колебаний — ибо содержание их отвечало желанию чешских народных масс...

Но Масарик, усумнившись в их подлинности, нашел смелость признать ложными эти рукописи, поведя совместно с профессором Гебауэром борьбу за правду.

„На лжи нельзя строить историю народа, и на лжи меньше, чем на чем-либо другом следует воспитывать народ“.

В журнале „Athenaeum“ Масарик опубликовал свое письмо к проф. Гебауэру.

„Над нами будут смеяться за границу? Жаль. Но не понимаю, как можно твердить, что честь

народа требует защиты рукописей. Честь народа требует защиты или познания правды, и больше ничего, и нравственное мужество, признающее ошибку, выше, чем защита ошибки“.

Против Масарика и Гебауэра поднялась травля настолько сильная и жестокая, что издатель „Athenaeum“ а Отто отказался от дальнейшего издания „крамольного“ журнала.

А сам Масарик, живший в доме Влчка на Виноградах, принужден был переменить квартиру.

Но Масарик вышел из борьбы победителем. Подлог рукописей был доказан бесспорно.

Борьба за правду.

Борьба с иллюзиями.

На очереди стояло разрушение веры в панславизм. И это разрушение было тем труднее, что большинство народа чешского и чешской интеллигенции ставило панславизм в основу своих надежд на чешское освобождение.

И борьбу в этом направлении пришлось вести Масарику — упорную и длительную.

И в его отношении к России характер Масарика, его личность, его душевный облик проявляются наиболее ярким, выпуклым образом.

Суровая критика, разрушение иллюзий, все анализирующий ум. И наряду с этим огромная любовь, жадный интерес, желание понять любовно.

Жестокая любовь!

Жестокая в своем отрицании, в своем неприятии.

И это логично — и почти неизбежно, что именно Масарик, который так тщательно, так многообразно и всесторонне заинтересовался Россией и ее изучил — он более, чем кто-либо из чехов, выступал и выступает с критикой России, не только царской России, но и России интеллигентской; выступает с критикой качеств неотъемлемо российских.

И Россия, которая так его влекла к себе, Россия, которой он посвятил ряд книг и статей, о которой он писал больше, чем о чем-либо ином, эта Россия — душой им глубоко любимая, умом-логикой им отвергнута.

Любимая — разумом не принята.

„К моему взгляду о моральной основе царизма я пришел задолго до войны; в своей книге о России, вышедшей как раз перед войной, я описал и анализировал печальное положение Рос-

сии. Естественно, что после объявления войны я не мог договориться с некритическими руссофилами, как нашими так и русскими“ (*Мировая Революция*, стр. 159).

„Царский Содом и Гоморра должны были быть уничтожены огнем и черным дождем. В таком положении не был лишь двор и придворное общество — деморализация была весьма распространена и захватила все круги, особенно же так называемую интеллигенцию, а также и мужика. Царизм, вся политическая и церковная система деморализовали Россию“ (стр. 157).

„Я имею право так судить о России во время войны, потому что я ее судил и осуждал подобным же образом и перед войной; свое суждение я не основываю лишь на неудачах войны, ибо они являются последствием тяжелой моральной болезни всего царского режима, а с ним и русского народа. В этом не может оставлять ни малейшего сомнения изучение дореволюционной России и особенно ее

литературы. Величайшие писатели оказывают нам русскую душу больной и хворой, но одновременно открывают перед нами ее стихийную тоску по правде. Толстой лишь рельефно выразил то, по чем тосковали все, видя сущность искусства лишь в правде, правдивости. Царизм как раз правдой не был, а война не обнаружила эту неправду больше и лучше, чем Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Гончаров, Тургенев, Достоевский, Толстой и Горький“.

„Россия пала, должна была пасть из-за своей внутренней неправды, как сказал бы Киреевский. Война была лишь великим поводом, при котором появилась наружу внутренняя неправда во всей своей наготе, а царизм пал сам собой. Царизм сумел цивилизовать Россию в грубых чертах, т. е. дать европейские возможности дворянству, бюрократии, офицерству, но мужик и солдат, и солдат-мужик в России жили вне этой царской цивилизации, а потому и не защищали ее,

когда во время войны она не смогла сама удержать себя, благодаря своей скудости и внутренней нищете“. (*Мировая Революция*).

„Путь России — не наш путь. И мы давно прошли период, ныне проходимый Россией“. — „Вы строите, говорил Масарик, обращаясь к славянофильствующим и руссофильствующим чехам, вы строите ваши теории и идеи на песке, все надежды ваши возлагаете на русского царя. Вы верите только в силу и мощность этого последнего и не видите, насколько прогнило, насколько дряхло русское самодержавие“.

Не только к царской России, но и к увлечениям российских народников относится Масарик недоверчиво. С резкой критикой социального значения русской общины выступает Масарик в своем классическом труде „Россия и Европа“.

„Этот коммунизм по своей природе отрицателен; т. е. его не следует сме-

шивать с коммунизмом, которого в настоящее время требуют социалисты, с противоположением и преодолением частной собственности и капитализма; он не является более высокой и совершенной ступенью хозяйственного и социального развития, а представляет примитивную форму первобытного хозяйства и собственности, когда малоценная, или совсем не имеющая ценности земля могла заниматься по желанию“.

И не правы славянофилы и народники, строя на этом „отрицательном“ явлении и „отрицательном демократизме“ свои теории.

И с началом войны его критика, его критическое отношение к России и к панславизму и панруссизму усилилось.

Ибо теперь это стало вопросом дня. Проблемой сегодняшнего дня.

И снова враги его стали обвинять его — на этот раз в ненависти к России, в германофильстве.

„Мое критическое отношение к России было, конечно, обоснованным и

единственно верным, пишет дальше Масарик (*Мир. Революция*). „Большинство людей до сих пор не понимает, что подразумевал Неруда под сознательной любовью. В данном случае я мог спокойно сказать, что любил Россию, т. е. русский народ не меньше, чем наши руссофилы, но любовь не может и не должна одурманивать разум. Больше того, участие в войне и революции требует хладнокровия и ясности мысли; война и революция не делаются лишь фантазией и восторгом, чувством и инстинктом, во всяком случае только ими они не играют.

„Я следовал завету Гавличка, который нам впервые указал Россию таковой, какой она есть в действительности и ничто не могло меня от этого отвратить. И я ясно сознавал когда и в какой мере демократический политик может и должен руководствоваться мнением большинства и даже всеобщим мнением.“

Критикуя Россию, отказываясь от нее разу-

мом своим — Масарик не раз на словах и на деле выявляет, быть может зачастую бессознательно, насколько сильна его любовь к этой отвергнутой им России.

Достоевский для него „великий мыслитель“ и „великий художник“, который дает представление о гениальности русского народа (*Час*, 1892 стр. 19).

Три раза он ездит в Россию к Толстому.

А 26 сентября 1910 г. он произносит речь о Толстом, речь проникнутую глубочайшей любовью и симпатиями к умершему писателю. И не только неподдельное горе звучит в этой коротенькой речи, но и глубокое понимание „родной“ ему России — России Толстого и Достоевского.

И свою речь он закончил.

„Дух Толстого дошел к нам, и было бы хорошо, чтобы этот дух, дух правды получил бы у нас большее распространение (*Час*, 2-XII 1910).

В поисках правды Масарик идет по пути жестокой, суровой самокритики и к этому пути он призывал неоднократно и чешский народ.

Он протестовал против всяких самообольщений и самолюбований.

„О своем народе можно судить совсем беспристрастно и незачем народ свой обожествлять... Не чувствую потребности принижать другие народы, чтобы мой был от этого виднее. Знаю и недостатки других народов, но они мне не так горьки, как недостатки народа моего“. (*Чешский вопрос*).

Отрицая ложный патриотизм, Масарик указывает в той же книге, что именно он понимает под подлинным патриотизмом. „Любить народ значит любить вот сейчас тебя, тебя, кого я знаю, чья нужда мне известна. И если я не умею любить тебя, — то не люблю и народа“.

„Мы народ Гуса и охотно себя так называем, но, однако, являемся ли мы им в действительности. Нет. Еще нет“ (стр. 4. *Масарик: Ян Гус*).

В разных очерках и статьях, в лекциях студентам и особенно в беседах со своими учениками непрестанно говорит Масарик, что только непрерывная и упорная критическая ра-

бота над самим собой, только ежедневное повседневное „искание правды“ может дать чешскому народу право называться народом Яна Гуса.

Ум все критикующий, все анализирующий... „Иногда со странным чувством покидали мы, слушатели и ученики Масарика, его лекции... Все подвергалось критике, и при том критике суровой порою жестокой. От наших иллюзий, мечтаний, от наших идеалов — оставались после этих лекций одни обломки“.

Так рассказывал о своем учителе профессор Радль.

Ум критикующий, не чуждый скепсиса. И факт любопытнейший, что свою профессорскую диссертацию Масарик посвящает „*Скептицизму Юма и исчислению вероятностей*“ („David Hume's Skepsis und die Wahrscheinlichkeitsrechnung“, Wien. 1887).

Эта работа является своего рода введением в теорию индукции.

Но скепсис Масарика чужд скепсису Юма.

От юмовского скептицизма Масарик берет лишь критику направленную против школьной философии, но отрицает решительно, чтобы

человек мог дойти до понятия причинности только в силу простой привычки (В. Шкрах, *Логос*, 1925). В равной мере он отрицает, что только математика обладает достоверностью, между тем как познание полученное из опыта не является будто бы, со своей стороны, законным. Верно, однако, что математические науки сделались основой всех точных наук, и возможность применения математического метода является критерием научной точности.

И Масарик, философ по образованию, в первых своих работах „О Платоне“ (1876) и „Прогресс, эволюция и цивилизация“ (1877) проявил себя позитивистом.

Масарик своим критическим отношением к жизни близок к позитивизму, понимает его дух, одобряет строгость его требований.

Вместе с позитивизмом он готов бороться и с теологией, с романтизмом и с чистым умозрением. Как и позитивисты Масарик борется с верой в чудеса и преисполнен убеждения в том, что мир управляется определенными законами.

Он верит в науку — ибо он человек науки. Он утверждает, что только наука в состоянии

определить цель прогресса и сохранить все, что есть наилучшего в жизни.

В своей работе о прогрессе эволюции и цивилизации Масарик проявляет себя, как последователь Конта.

То же определение эволюции, та же картина исторического развития человеческого общества по путям усовершенствований естественных способностей человека.

Но позитивизм оказался для него тесным, не удовлетворяющим жадности его духа.

Его душа ищущая и мятежная не удовлетворяется упрощенной логикой позитивизма.

Он ищет выхода из ясно очерченного, слишком ясного и слишком отчетливого круга позитивных идей.

Принимая позитивизм, когда тот отрицает теологию, он борется с ним, впадающим в материализм.

Материализм и дарвинизм чужды Масарику (стр. 60. *Сог. оп.*). Законы управляющие миром суть дело Сверх-человеческого Провидения и он резко, почти с негодованием относится к позитивистическому фатализму, делающему человека-индивидуума простой и бессильной частицей огромной космической машины.

„Какой смысл в развитии общества, раз мир не будет существовать вечно“ (Статья *Теория и Практика*). И он убежден, что существует целесообразность.

Он убежден: смысл бытия земного должен быть. Не может не быть.

И он готов принять, как Априорное Суждение — Бессмертие Души.

Так постепенно отходит он от упрощенности контовской концепции к признанию Энтелехии.

И в своей более поздней работе (*Самоубийство, как массовое явление современной цивилизации*, 1881) Масарик уже требует, чтобы на месте прежней религии была поставлена новая.

Или самоубийство или религия.

И он готов всю историю человечества представить в виде борьбы между верой и неверием.

И личную трагедию Конта хочет объяснить Масарик слишком смелым упрощением жизни.

„Ход его жизни, как равно и течение его мысли, запечатлен теми же тенденциями, которые изживаются в настоящее время культурными народами. Он, который так ясно вскрыл полукультуру нашей эпохи, боролся со

всем пылом души своей за введение единства в наше представление о мире, создал грандиозную систему положительной философии и основал целую религию, — он заболел, — душевной болезнью и хотел покончить самоубийством...”

„Позитивистические стремления к ясности и точности легко впадают в односторонний интеллектуализм... Сам Конт стал фетишистом“ (*Мировая Революция*, стр. 117).

Будучи человеком, жадной души и прежде всего им, будучи искателем правды, принимая жизнь, как действие, как творчество, — он должен был приблизить философию к Жизни-Земле. Для него философия должна была черпать свое вдохновение и свою силу в потребностях жизни. Вместе с тем, рядом с этим существует, царит Целесообразность. И именно она властно требует, чтобы ядром философии, даже повседневной, даже общечеловеческой, была этика.

Масарик — реалист.

Так называет он себя. Так называют себя его ученики, и последователи.

Но реализм его — не только философия. Больше, чем философия. Ибо Масарик — человек. И человеком он сознает себя. И как человек хочет приблизить он к жизни, к земле — философию и отвлечение.

Для Масарика философия является реальной и методологической основой всех наук.

Она должна быть научной, не должна быть выше наук, не быть метафизикой. Ее место „внутри наук“ и „должна она проистекать из них“.

Масарик протестует против чрезмерного отвлечения философского мышления, против пресыщения философии отвлеченной мыслью. Науку и философию соединяет, хочет соединить Масарик с жизнью. И его реализм есть прежде всего *методика жизни*, учение о научном, логически-правильном претворении идей воспринятых — в жизнь, в повседневность.

Способ восприятия идей, реагирование на них человеческого организма, те пути — по которым идет процесс претворения идей в жизнь — все это составляет главнейшую часть масари-

ковского реализма. Вместе с тем этика является ядром философии, а философия для Масарика сливается с метафизикой в самом узком смысле этого слова. Она является всенаукой (пансофией Коменского), но все-наукой ограниченной, в сущности воистину научной. (*В. Шкрах, Логос*).

Реализм Масарика сказывается и в желании добиться осуществления своих идей — социальных и политических, в жизни.

Его научная философия по своему устремлению и своему духу радикально противопоставляется церковной теологии и традиционным религиям.

„С практической точки зрения умственная и нравственная анархия нашего времени делает необходимой задачу установления на прочных основаниях одной единственной философской концепции. Конт попытался осуществить эту задачу, обосновав религию человечества и сделавшись ее первосвященником. Но подобный замысел должен был бы носить иной характер для того, чтобы быть в силах возродить упадочную эпоху.

Как бы там ни было, а в труп невозможно вдохнуть новый дух. И действительно, Конт остается верен средневековой организации общества, хотя с католической точки зрения он и является, по правде говоря, величайшим еретиком. Отбросив религию, он сохранил вообще церковную организацию, тогда как другие реформаторы ждут общественной реорганизации от систематической реформы человеческого поведения“ (*Конкретная логика*).

Реализм Масарика — это „учение о жизни“, построенное на разумном использовании идей человеческих.

Это учение в корне своем преисполнено действия, ибо зовет оно человечество претворить Слово в Дело.

И ценность масариковского реализма, учения далеко еще не воспринятого в должной мере современными учеными состоит в стремлении разрешить проблему извечную о „гармонии между разумом и душой“.

И Масарик, ученый, неумолимый аналитик —

принимает религию, утверждает этику, верит в реальность различия между добром и злом.

Верит в торжество идеи.

Верит в правду.

Верит в возможность „Правды на земле“.

В то, что будущая жизнь человечества, социальная и моральная будут лишены своих нынешних темных сторон.

Он не только верит в это, но и старается провести в жизнь свои идеалы.

И в этом отношении Масарик прежде всего и больше всего — реформатор, народный вождь, сильный своим реализмом.

Масарик принял жизнь. Но этой жизнью он не удовлетворен. И он зовет своих учеников, своих последователей, весь чешский народ к более совершенной, более нравственной жизни. Он вспоминает заветы чешских братьев. Он подчеркивает, он выдвигает роль христианства.

Он не хочет компромисса между добром и злом. Этот путь не для него. Он зовет к гармонии и путь этот идет через осознанную и принятую доброту, через любовь к ближнему своему.

„Кто спас мир?“ — спрашивает Масарик в своем сочинении, посвященном самоубийству: „это не был ни политик, ни экономист, ни социалист, ни демагог. И поистине грандиозно видеть Христа в эту эпоху, столь полную волнений, удаленным от всякой политики. И это в то время, когда ему было бы так легко покорить сердца людей политическими манифестациями. Но что Он требовал? Чего Он хотел? Он хотел, чтобы человек стал хорошим и добрым“.

И учение Христа сказывается и проявляется во всем, что говорит Масарик. Вера в правду, необходимость неотложная и первостепенная, усовершенствовать человека, созданного по образу и подобию Божию, сделать этого человека человекобогом — таков базис, подоплечная сущность масариковского идеалистического реализма.

И разве не характерно и не знаменательно, что он, в своем „Социальном Вопросе“ перевел на язык социально-человеческий гимн святого Павла об общечеловеческой любви.

Любовь к Богу, искание вечной правды, зов на служение человечеству, — и наряду с этим холодная рассудочность, требование систематической, упорной, повседневной работы, и насмешливое, ироническое отношение „к широким настроениям славян“, к их „беспочвенным увлечениям“.

И чем ближе и больше знакомишься с Масариком, тем более и более поражает его своеобразная и удивительная двойственность —

„Ни Конт — ни Достоевский“.

„Ни Юм — ни позитивизм“.

„Ни Маркс — ни идеализм“.

И однако сколь причудливейшим образом смешаны в нем и Достоевский и Маркс, и Конт и Юм, Восток и Запад.

Словацкий мужик, от народа своего великого он впитал идеализм последнего, ту веру в правду, ту веру в необходимость и неотложность ее всемирной реализации, выразителем которой был Ян Гус и Чешские Братья. Ибо призывом к правде, призывом к Перво-Христу, протестом против лжи католичества, против искаженной истины Христа было гуситское движение. И

задавленное католичеством, внешне покоренное оно осталось жить в душе чешского народа.

И это его святое святых. Это его вторая душа, настоящая, полуприкрытая. И вот это влияние Яна Гуса, это преломление последнего в Масарике — сказывается в каждом слове его в каждой строке, им написанной.

Отсюда, от истоков гусизма, от Вифлеемской пражской церкви, куда стекались пятьсот лет тому назад ищущие правды чехи, отсюда проистекает и вера масариковская в правду, в торжество ее, в человека, в Христа.

И сила Масарика не в его рассудочности, не в том, что холодному анализу подверг он свое мировоззрение и свою тоску, не в его европеизме и реализме, а в том, что отражает он чувства и желания Яна Гуса.

И сам на себя смотрит Масарик, как на продолжателя и исполнителя заветов Яна Гуса. Ибо „наше славное и великое прошлое — мало в сравнении с тем, что нам предсказывает в будущем“ (*Ян Гус*, стр. 18).

И Масарик в своей книге *Ян Гус* дает яркую картину значения Гуса и гусизма для чешского народа.

„Будем у него учиться твердо стоять

за осознанную правду, иметь сильные, непоколебимые жизненные и религиозные убеждения“.

И в речи сказанной в Таборе в 1910 г., Масарик спрашивает.

„Напрасно умер Гус? напрасны были гуситские войны? напрасна была внутренняя борьба? напрасно до и после Белой Горы антиреформационные преследования, неужели все это было напрасно? Четыреста лет нашего исторического развития от Карла до Иосифа, это нравственное содержание чешской истории это все ничто? Я спрашиваю: если в течение этих четырехсот лет проявляется чешский дух, чешский характер, наш религиозный характер, возможно ли, чтобы мы жили иным духом, чем наши реформаторы и следовавший за ними народ“.

И в гуситском движении, этой чешской религиозной реформации Масарик видит исключительные стороны и он зовет чехов идти по стопам гуситов.

„Наш народ шел за Гусом не ради наслаждения и благоденствия. Он шел за „Духом“ и мы хотим тоже духовно жить по Гусу. Мы хотим следовать хорошим и завидным сторонам нашей реформации. Вы посмотрите только на бесстрашие, которое может быть лишь там, где есть ясность мышления. Посмотрите на Жижку, этого человека целиком из гранитной скалы, на его твердое убеждение, на его бесстрашие“.

„Посмотрите на Хельчицкого, на Гуса, на Коменского — всюду определенность и готовность идти до крайности. Посмотрите на эту готовность жертвовать собой — даже жизнью, на это упорство, на углубленность и стремление к просвещению, как все это воплощает в себе Коменский. Вспомните как Гус рекомендует своим ученикам и последователям правду, прямо как таинство. А посмотрите на человечность и гуманность у этих таборитов“.

Гус и Масарик...

Что влечет Масарика к этому проповеднику, пророку, сожженному на костре за свои убеждения.

Что волнует его, привлекает его больше всего в этом движении, религиозном, революционном, отчасти социальном.

Искание правды...

Не раз — множество раз — вспоминает Масарик слова Гуса.

„Оставайтесь с Иисусом Христом. Стойте в познанной правде, которая все побеждает, могущественная во веки“.

„Стойте в познанной правде — вот значение Гуса и его дела“ (речь студентам 29 июня 1899 года).

Жажда правды у Гуса была беспредельна.

Когда враги его судили его за ересь в Костнице на церковном соборе, заранее предрешив его судьбу, заранее приуголовав ему сожжение на костре — он хотел только одного — Правды.

И идя в Костницу он просит своих последователей молиться о том, чтобы Бог сподобил его защищать истину, или же твердо перенести смерть.

На соборе, он не думает об участи его ожидающей.

Он хочет только добиться „правды“.

Он требует чтобы прения были правильны.

„Я готов немедленно от полноты сердца переменить свое мнение и засвидетельствовать о своей ереси всенародным отречением, если только Собор докажет мне противное на основании Слова Божия“ (цит. стр. 14. 1878, *Странник*.)

А когда ему предложили отказаться от „Правды“ отречься не по убеждению, не по совести, а подчиняясь милостивому решению и определению Святейшего Собора (дословно: *summito me humiliter misericordii ordinationi, definitioni, correctioni sacrosancti concilii generalis*) Ян Гус — принял Смерть.

Эта жажда Правды, это страстное, непреклонное и искание ее — близко и понятно Масарику.

Ибо это то — что является качеством неотъемлемым его натуры, признаком резко выраженным всей его жизни.

Но не только это.

Жизнь Гуса — это непрерывная борьба за обиженных, обойденных и униженных.

Борьба против „Человеческой Неправды“.

Гус был не только религиозным реформатором. Он защищал права чешского народа, теснимого немцами. Он отстаивал право чехов на национальность. Он боролся с развратом духовенства, с их корыстолюбием, с тем, что забыли они Слово Христово. „Пробудитесь“ обращается Гус к князьям, „от летаргического сна, которым усыпило вас духовенство, и изгоните из своих владений ересь святокупства, ибо в противном случае без всякого сомнения, будет буря и не будет на земле мира и благоволения в человецех“ („O Svatokupectví“, 2 II 1413 г.).

Гус — был народным вождем, революционером, социальным реформатором.

Он звал к Первохристианству, к Культуре Человеческой Морали, к Гуманизму в широчайшем смысле этого слова.

Он хотел осуществления „Царства Божьего на земле“, печалился горестями и страданиями народными.

И все это на фоне — национализма.

Ибо был Ян Гус — не только пророком, во-



ждем народным, революционером — он был чехом. Отсюда — огромное значение гуситства, которое было движением не только религиозно-социальным, но и национальным. В этом — живучесть и жизненность лозунгов, выдвинутых Яном Гусом и таборитами.

.

Ученый, ректор пражского университета, пророк, искатель правды, ярый ее поклонник и слуга, во имя ее и ради ее принявший смерть, оставивший в истории народа своего бессмертные идеи — Ян Гус — через пятьсот лет обрел преданнейшего ученика, последователя и исполнителя своих заветов.

И в облике Масарика с его страстью к познанию и к правде, в его неутомимости в борьбе за вечные идеалы, в его апостольском зове народа своего к нравственному самоусовершенствованию, с его верой в Бога и в человека — видим мы черты общие, сближающие его с вождем чешской реформации.

Строгость к себе, аскетизм возведенный в принцип, критическое отношение к жизни — наряду с энтузиазмом веры — эти качества характерны как для Масарика, так и для Яна Гуса.

И подобно Яну Гусу — Масарик ученый и философ, должен был — стать революционером, и именем Яна Гуса и во имя его — провозгласить революционную борьбу за угнетенные права своего народа.

Влияние прошлого, — сильнее настоящего, великая наследственность выходит победительницей из борьбы с приобретенными Вчера и Сегодня.

Голос Нации устами лучших людей ее диктует подоплечные желания, затаенные цели, в душе народной заложенные.

И не случайность, а исторически продиктованная необходимость была в том, что именно Масарик 6-го июля 1915 года, в пятисотлетие сожжения Яна Гуса, провозгласил перед его статуей и именем его — борьбу за независимость Чехии. И было в этом менее всего рассудочности и менее всего от „Европы“, а было это торжеством мистическим, пророчеством, преисполненным верой в торжество правды.

И когда, десять лет спустя, 6-го июля 1925 г. на пражской площади стотысячная толпа после

речи Масарика тихо плакала — это было искуплением целесообразным жертвы, принятой Яном Гусом во имя правды и ради своего народа.

И не даром эпитафией к своей книге взял Томаш Масарик слова Яна Гуса:

„Ищи правду, внимай правде, учись правде, люби правду, говори правду, держись правды, защищай правду до самой смерти“.—

Слова, которые он не устает повторять чешскому народу — народу Яна Гуса.

Масарик принял жизнь. Жизнь, как творчество. Жизнь, как непрестанную упорную работу, как бытие человеческое, как искание правды.

Масарик принял Землю. И в этом принятии — он позитивист. Он реалист.

Он принял жизнь, как борьбу за принципы Всечеловеческие, как борьбу за гуманизм.

Но он сын своего народа.

Народа Яна Гуса.

А заветы народа чешского требовали борьбы — борьбы за национальные права, за народную самостоятельность.

Все прошлое — звало Масарика к этой борьбе.

И снова — неумолимым ходом жизни поставлен был он в необходимость выбирать между тем, к чему звало его сердце и тем, что диктовал разум.

Гуманизм и революция!

Мирный путь — путь соглашений, путь компромисса и революция — опасная и конечно кровавая.

Он принял революцию. Принял борьбу, ибо натурой своей и всем прошлым своим был он — революционером.

„Я люблю Жижку, я ему симпатизирую, он меня привлекает к себе, я бы следовал за ним, но я должен сказать вместе с Хельчицким, что насилие, которое Жижка применил, мы не смеем употреблять“...

„Я думаю, что истинным стремлением чешского человека должно быть сознательное соединение в себе Коменского и Хельчицкого. Та гармония, которую так требовал Коменский, должна быть в нас, а это означает соединить в себе положительные сто-

роны характера нашей реформации“.

„Гармония, подчеркивает Масарик, — не компромисс. Между Жижкой и Хельчицким, между Гусом и Коменским никакого компромисса. Это зло“.

(*Ян Гус, Речь 1910*).

И, несмотря на гуманизм, несмотря на заветы Коменского и Хельчицкого — борьба революционная за Чехию, за независимость была объявлена.

Ибо этого властно требовал голос народа, прошлое народа.

Объявлена война. Австрия против России.

И теперь перед Масариком этот вопрос, ясно и настойчиво требует ответа. Ответа конкретного.

Да или нет!

„Жижка или Коменский“!

Принятие войны или отказ от нее.

„Решение выступить против Австрии было для меня не только политической, но также и моральной проблемой“ (*Мировая Революция*).

Голос прошлого, идея, заложенная в Душе чешского народа настойчиво звала Масарика к борьбе. Он колебался недолго.

„Исходя в своих политических взглядах из учения Палацкого и Гавличка, я долгое время, как и многие наши политики, искал аргументов в пользу нашей австрийской ориентации; мучил меня, как и наших вождей возрождения, вопрос о самом народе“.

Но еще задолго до войны Масарик „перешел в оппозицию“.

„Династия, всемогущая в Вене и Австрии, вырождалась духовно и физически; Австрия была для меня также вопросом нравственным“. „В этом я расходился с младочешской партией, а позднее с радикалами — я Австрию и династию судил не только с политической, но и с моральной точки зрения. В этом разнилось и мое понимание, так называемой, позитивной политики, я был за участие в правительстве, но свое положение там я использовал бы не только для реформы писаной конституции, но и всей административной практики в чешском духе. Я всегда стоял, как я это называл, за культурную политику, за

истинную демократию“ (*Мировая Революция*, стр. 37 и д.).

Масарик следующим образом рисует в своих „Воспоминаниях“ настроения начала войны.

„Наше место определялось всей нашей историей. Оно было на антинемецкой стороне. Анализируя европейское положение, определяя возможное развитие войны, я решился на активное сопротивление Австрии“.

„Решение не было для меня легким — дело шло, как я чувствовал и знал, о решении судьбы народа; но для меня было ясно, что в столь великую эпоху мы не можем оставаться пассивными: и самые лучшие права должны быть добыты деятельными людьми, иначе они остаются лишь на бумаге. Если мы не можем восстать против Австрии на родине, то мы должны это сделать за границей“.

„...При всех решениях по вопросу о восстании против Австро-Венгрии в глубине души у меня звучал вопрос: готовы ли мы к действиям, созрели ли мы для свободы, для самоуправ-

ления и сохранения самостоятельного государства, состоящего из чешских земель, Словакии, и многих национальных меньшинств. Достаточно ли у нас настолько политически зрелых людей, которые бы поняли действительный смысл войны и задачу народа в ней. Угадаем ли мы решающий исторический миг. Сумеем ли мы на самом деле действовать — снова действовать. Загладим ли навсегда Белую Гору. Преодолеем ли в себе австрийское столетнее воспитание“.

„Верил и я, Господи, что пронесется вихрь гнева Твоего и вернется к Тебе, о народ чешский, право и мощь твоя“ (*Мировая Революция* стр. 41—42).

Для Масарика — мировая война представлялась конфликтом не только между германцами и славянами, но столкновением всего Запада с германским народом.

„Мировую войну я не считал войной германцев со славянами, несмо-

тря на то, что ненависть Австрии к Сербии была поводом, а частично и причиной войны...”

Я видел в войне гораздо большее. В исторической перспективе мне пангерманский империализм представлялся продолжением старого и затяжного римско-греческого антогонизма, вражды Запада и Востока, Европы и Азии, позднее Рима и Византии; антогонизм этот не только национальный, но и культурный...”

„Друг против друга стояли не только германцы и славяне, но и германцы и Запад, культура германская и западная, Запад включающий в себя также и Америку. На стороне немцев были венгры и турки. Немцам было важно покорить Европу, Азию, Африку, словом Старый Свет, против этого восстал остальной мир: и впервые Новый Свет — Америка — пришел на помощь негерманской Европе для отражения немецкого нападения...”

„Союз всех народов под главенством Запада служит доказательством,

что война не имела исключительно национального характера — это была первая замечательная попытка объединения целого мира, всего человечества. Национальные несогласия были подчинены культурной идее и служили ей“ (*Мировая революция* стр. 40).

Проблема войны, принцип гуманизма и Человеколюбия!

Этот вопрос, который был для многих полон личных переживаний, трагичных и тяжелых, был разрешен Масариком положительно: им была принята война, кровь, миллионы людских смертей.

Принятие войны — крови было для Масарика не компромисс, не уступка необходимости, — это отвечало всей натуре Масарика, всей его психологической концепции человека активного, революционера. Но гуманизм? его принципы?

„Проблема войны и революции занимала меня уже давно, очень давно; ведь это главный моральный вопрос — гуманизм не был для меня только словом. Ведь это же и чешская проблема; вопрос Жижка или Комен-

ский — был Колларом и Палацким разрешен в пользу Коменского“.

И однако, несмотря на гуманизм, несмотря на всю величайшую преданность Масарика принципам последнего — он не колебался, почти не колебался в выборе: между войной и гуманизмом. И психологически — при решении этого вопроса он не прошел через личную трагедию или сомнения. Вопрос был им предreshен.

Психология Масарика выясняется из его отношения к Толстому.

„В наше время на проблему, в более общей форме обратил внимание Толстой. Я никак не мог согласиться с учением о непротивлении злу:

„Я утверждаю, что каждый постоянно и во всем должен сопротивляться злу и выставил против Толстого истинную гуманитарную цель: быть постоянно на страже, преодолеть старые идеалы насилия, идеалы героизма и мученичества, энергично и с любовью отдаться работе, мелкой работе, работать и жить! В крайнем случае со-

противляться насилию и нападкам железом, защищать себя и других от насилия“ (*Мировая Революция*, стр. 70).

Жизнь — есть действие. Активное движение. В этом ее смысл, ее суть.

Масарик сознает то, что не было ясно философу Толстому.

„Толстой не признавал психологически, а следовательно и морально разницы между защитой и нападающим насилием. Это не верно; мотивы там и здесь различные, а именно мотив имеет решающее значение в нравственности: вот стреляют двое, а между тем есть разница — защита и нападение...“

„Если один (из борющихся) должен быть убит, так пусть это будет нападающий! Почему должен быть убит человек не нападающий, не предпринимающий ничего злого, а не тот, который хочет зла и который убивает?“

„Я вполне ясно сознаю, что люди очень легко переходят от защиты к нападению; правда также то, что очень

трудно удержаться в границах само-защиты при нападении, но Хельич-кому и Толстому не может быть про-тивопоставлен иной нравственный за-кон“ (стр. 71).

.

„В этих своих размышлениях я ис-хожу из той точки зрения, что бой на поле сражения вовсе еще не худ-шее зло человеческого общества“.

Ибо „Нужно разобрать все то со-стояние общества, при котором воз-никла война“ (стр. 72).

.

И Масарик приходит к положению „гума-низм против насилия“. И в этом положе-нии — суть масариковского учения.

Активный гуманизм!

Активно отстаивать свои права на существо-вание, не нарушая прав ближнего или дальнего.

Бороться против насилия, лжи, компромиссов, нравственного падения.

Бороться активно, рьяно, с верой в свою правоту.

В этом — в активности гуманизма Ма-сарика важнейшее отличие его учения от учения

Толстого, которое является гуманизмом на пассивности основанным.

Решение действовать знаменовало для Масарика новый период, который нельзя иначе назвать, как революционным.

Приняв революцию, Масарик приступает к активной деятельности. Он начинает ее в Праге. Он собирает вокруг себя элементы наиболее революционные и активные. Вместе с Бенешем он создает революционную организацию Маффии.

Начинается полная опасности и риска борьба с Австро-Венгрией. Эта борьба ведется сначала в самой Праге, потом Масарик переносит ее за границу.

К этому времени (1915) ему становится невозможным оставаться в Праге. Он ждет со дня на день ареста. Он решает уехать за границу.

Покинув Прагу, он за границей ведет упорную работу по подготовке европейского мнения в пользу Чехословакии.

В ряде лекций, в журналах и газетах, в докладах в научных обществах не устает Масарик отстаивать право своего народа на самостоятельность. Революционная деятельность

заграничных чехов, руководимая Масариком, Бенешем и Штефаником развивалась в годы войны во все большем и большем масштабе. Началось формирование чехословацких батальонов, сначала во Франции и России, потом в Италии и Америке.

Несмотря на свой преклонный возраст — Масарик с энергией чрезвычайной шаг за шагом шел к своей цели: независимости Чехословакии.

Он едет в Англию, затем в Россию, Америку, снова Англию — и всюду борьба с одним врагом, борьба неумолимая и решительная.

Борьба с Австро-Венгрией!

И в этой борьбе — характер и личность Масарика выявились особенно ярко и выпукло: активный, волевой, решительный. Никаких компромиссов. Никаких уступок.

Точно предчувствуя возможный выход России из войны, и учитывая весь драматизм для славянских народов, который проистекал из этого обстоятельства, Масарик центр тяжести своей заграничной политической деятельности перенес во Францию и Англию.

Расположенный всей душой к России, посвятивший десятилетия своей научной деятельности изучению России, Масарик, сильный в своей логике и покорный своему рассудку, отказался от принципов старо-славянской политики, развив свою деятельность в международном масштабе.

Это и спасло Чехословакию в дни крушения Российской Империи.

Но эта политика Масарика и Бенеша не только помогла Чехословакии добиться своей самостоятельности в формах для нее наиболее желательных, но и позволила Чехословакии, как славянскому государству, продолжать политику полезную и нужную славянским народам.

Отказ своевременный от панславизма привел Масарика к возможности постоянной реализации славянской проблемы.

Только теперь, через несколько лет после мира, можно ясно учесть все то огромное значение для будущего славянства „европейской“ политики Масарика и Бенеша.

Ибо только благодаря этой политике при заключении мира и в годы послевоенные удалось Чехословакии занять то первенствующее положение в ряду других европейских государств,

которое позволяет ей сказать свое веское слово при решении европейскими государствами проблемы жизни и мира народов и которое дает ей возможность проводить свою „подлинную славянскую политику“.

Позади жизнь — где каждый день полон борьбы и труда, где каждый день — выдвигал новые вопросы, новые трудности, новые препятствия.

И эта борьба — этот упорный, сверхчеловеческий труд — велись только во имя Правды.

Познать правду, приблизить ее к жизни, научить людей ее любить и понимать, очистить правду от слов ненужных и лишних, соединить воедино — множество людских прав — во имя всего этого боролся и борется Масарик.

Но правда познается не через Слово, а через Дело.

И к этому, к познанию правды, к приближению к ней, — через Дело, через Действие и зовет он Человечество.

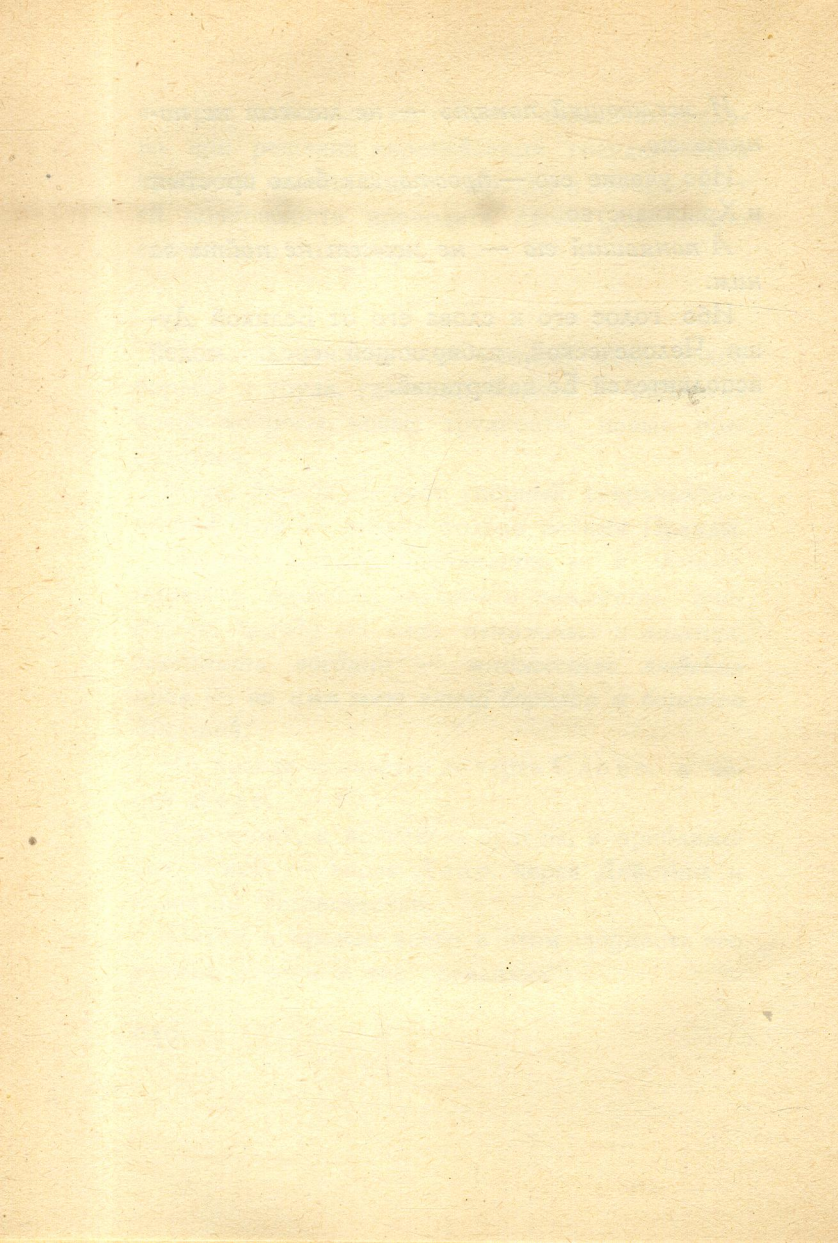
В этом и прежде всего в этом сущность его учения, сущность его „реализма“.

И желающий понять — не может не понять его.

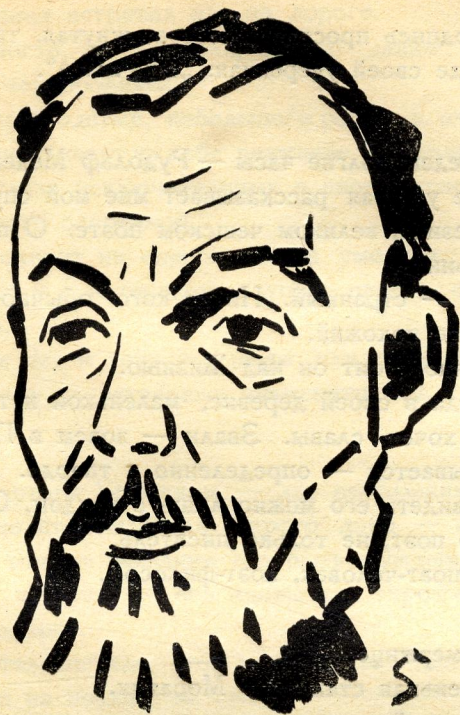
Ибо учение его — *просто*, как было простым и Христианство.

А понявший его — не может не пойти за ним.

Ибо голос его и слова его от Великой Души Человеческой, избирающей среди людей исполнителей Ее начертаний.



ОТАКАР БРЖЕЗИНА



Почерком странным, диковинным было написано письмо, мною полученное.

Буквы ровные, словно нарисованные, тонким пером выведенные.

Буквы живые.

И подпись простая, в себе замкнутая, твердо
в правде своей уверенная: „Březina“.

Мы едем долгие часы — Рудольф Медек и я.
И не уставая рассказывает мне мой спутник
о Бржезине, великом чешском поэте. О поэте-
отшельнике.

„Он — странный. Ни на кого обычно-люд-
ского не похожий.

Словно стоит он над Жизнью.

Всегда в своей деревне, маленькой и тихой.
Не хочет славы. Звали — зовем в Прагу.
Отказывается — определенно и твердо.

И увидеть его можно лишь с трудом. Он не
только поэт, не только писатель.

Он поэт-человек, поэт-философ.

Яромержице.

Маленькая станция в Моравии.

Обычный вокзал, широкая дорога, кругом поля.

Яромержице. Чем-то далеким он напоминает
русский уездный городок, с небольшими доми-
ками, несуразной площадью и только наполо-
вину вымощенными улицами.

Бржезина встретил нас на дороге.

И просто, по-дружески, словно давно знакомый, поздоровался.

Скромно одетый, небольшого роста, в очках, он останавливает на себе внимание выражением своих глаз, исключительных в своей ясности, но ясности особенной.

Он говорит не спеша, иногда умолкая, внимательно и с интересом слушая своего собеседника.

В нем нет и тени гордости или тщеславия, черт столь свойственных знаменитостям.

И квартира Бржезины — две небольших комнат в втором этаже старого дома — говорила о том же желании его быть чуждым вещам не нужным, об его привычках скромных и ограниченных.

Простая постель, стол и множество книг...

Книги на полках, на столе.

„Мое богатство — только книги. Много русских. Вот Толстой, Достоевский... русские журналы“.

„Мне ничего не надо. Очень мало. И только книгам радуюсь я, книгам новым и старым.

Среди них у меня есть и близкие друзья, есть и злые враги“.

Это было в 1896.

Бржезина печатает свои „Тайные дали“ (Tajemné Dálky), в том же году „Рассветы на Западе“ („Svítání na Západě“) немного позже „Ветры с полюсов“ („Větry od Pólů“), „Строители Храма“ („Stavitelé Chrámu“), и наконец, в 1901 г. „Руки“ („Ruce“).

Этими шестью сборниками и исчерпывается его поэтическое творчество.

В 1903 году появляется сборник его философской прозы „Музыка Источников“ („Hudba Pramenů“).

И с того времени он умолкает.

Перестает печатать, творить, писать.

„Я все сказал. Всего себя. Всю свою правду. Все, о чем хотел сказать. Творчество моей души“.

„Говорить еще и снова“?!

„Разве это не будет повторением, досадным и ненужным уже сказанного, откликами прежних моих настроений и мыслей.“

Не трудно говорить — трудно молчать“.

И Бржезина являет собой разительный пример большого поэта, сумевшего отказаться от повседневности во имя ясности своей правды.

В маленькой комнате темно.

Бржезина зажег лампу, керосиновую и старомодную.

Люди! Ничтожные, мельчайшие!

По земле рассеянные люди.

Люди земли!..

Жалкие в своем ничтожестве.

Ибо на них — Пороки Земли!

.

рожденные землею — они Дети Неба

и радость извечная заливает душу понявшего

приобщенность человеческую к Небу,

в Тайне замкнутому.

Видит Бржезина — звезды

И через звезды — хочет он уйти от повседневности.

Понять через Небо — Тайну Земли.

Каждый миг, на своем всегда месте

в мистическом танце миров

кружимся мы во вселенной.

В светлые сферы духов манящую свою красоту

мы излучаем.

Вокруг наших голов

ореолами

искрятся золотые волосы,

натягивающиеся, как звонкие лассо,

от вихря полета.

Лиц наших, горящих экстазом,

коснулась прохлада веков,

и охваченные счастьем своего полета

обессиленные блеском мучительного наслаждения

с выкриком, который несется бесконечностью

гармонический и ликующий, —

мы падаем, таинственные танцовщицы

и в кровь погруженные, как в розы,

мы погибаем.

Вступают сестры на наше место,

светозарные,

и песнею, рвущейся мглою вечного,

волнами, всегда растущими,

в новые и новые просторы движется

среди взвихренной пыли туманностей

сверкающий авангард тайны.

(Пели горящие звезды).

.
.

„Сотни братьев сказали: мы знаем тайны его;
Мертвый восстанет от сна, угаснет живой, дремля,
сказали влюбленные: светом излишним взор он слепит

и время, как запах цветов неизвестных, всех убивает, целя,
А те, кому узреть дано тысячелетия
С улыбкой спросили: Земля?"

(Земля).

Говорил Бржезина просто, голосом спокойным
и ровным.

— „Сначала я был поэт, только поэт, но последний год своей литературной деятельности я посвятил прозе, и она мне ближе и родней. Возможно, что она правильнее отражает мою сущность“...

.
.

Нас держит земля

Держит повседневность.

И крепкие цепкие руки Ее зовут нас к „Каждому Дню“

Тоска по Вечности, тоска по свободе от

„Сегодняшнего дня“

Приобщение Великое к Тайне

Сегодняшнего Небытия

Блажены — понявшие

Блажены — те немногие — Братья

Вечности

Ушедшие от Повседневности

.
.

И поэма Бржезины „Извечное Стремление“ говорит о братьях, ищущих Наджизненности.

„Через дали времен и пространств тоскуют друг о друге братья одного духовного рода. Каждый ответ, который угадали они в молчании земли, каждая загадка, которая осталась немою для них, каждая мечта, в которой боятся признаться они — сближают их. Выполняя приказы, полученные ими в гипнотическом сне иной жизни, они идут друг к другу путями всех весен, тишиною всех ночей. Они родились в тот же самый час вечности. Образы духовных лиц их отражаются рядом, когда пьют они, изнеможенные, из одного источника вечных вод. Им предопределено работать друг для друга и передавать недовершенное творение из рук в руки. Умирая, они завещают один другому богатства рода своего, тайные сокровищницы свои, не прощенные преступления, не одержанные победы, болезни зрения своего. Судьба их свершается, когда находят они друг друга в светлой стране; и

даже если кажется, что разлучаются они — не разлучны они никогда. Только друг от друга принимают они дары, не унижаясь. Только раны, которые наносят они друг другу, смертельны для них. Надежды их общи, как всем известное убежище, которое находят чутьем, настигнутые бурей или затравленные охотниками. И, судорожно прильнувшие друг к другу в холоде веков, согреваются они дыханием своим и смотрят на тот же светлый клочок неба, откуда ждут они солнца. Общая история их проходит через все творчество до таинственных начал жизни на земле и вне земли. В рядах предков своих имеют они общих мучеников, завоевателей, законодателей, певцов, создателей символов, основателей городов. Судьбы их на земле родственны. Тела их созревают по одному закону страдания и наслаждений. Из слов всех языков земли создают они тайный язык души, который непонятен непосвященным. Трепет деревьев, плач и смех вод, шопот и

страсть ветров, сияние звезд и полет облаков для них — средство говорить друг с другом из далей всех земель и веков. Молчание их — как замирание в экстазе самого горячего объятия их. Воли их работают в одной сфере в иерархии воль.

Ибо волею различаются роды духов. В словах есть свои предательские умолчания, глаза могут уклониться от устремленного взгляда, но воля обнажена, как пылающий огонь. В внезапных сверканиях своих открывает она молчаливый и трагический свет глубин наших и выдает наше космическое родство. Но воля, как бы могущественна ни была она, всегда только регулирует неравномерную теплоту атмосфер над странами духа. Сокровеннейший глас ее является призывом к иному. Взор ее был бы лишен магической силы, которая делает его всемогущим, если бы не горели в нем видения иной земли, иного космоса, иных возможностей жизни.

Каждый духовный род живет из века

в век единым стремлением — владеть безраздельно всей землей, притягательностью своего водоворота сдвинуть все силы, — сделать волю свою потоком живых вод, который, будучи даже отведен в пустыню, по всему течению своему столетиями возвращает ослепительную зелень берегов. Все невидимое дыханием своим превратить в видимое. Королевским шествием развернуться среди множеств, которые отступают с шопотом почтения в щемящем ужасе перед роскошью двора. Принудить все руки работать на него от края до края земли, овладеть всеми полями ее, положить печать свою на мысль, поставить свои цели труду, методы науке, смысл любви, дать оправдание господствующей страсти своей и свое толкование жизни и смерти. С королевской щедростью простереть руку свою ко всем сокровищам земли и давать: ибо давать принадлежащее ему, давать веками, целую вечность давать — это высшее наслаждение и гордость духа,

изысканное блаженство его, таинственная причина всей борьбы.

Но и тогда, когда для духовного рода гении его завоевали власть, и когда воля его победно простирается до лихорадочного труда миллионов, они живут, отверженные, в глубинах жизни и тайно трудятся. С мучительной, горячей радостью узнают они друг друга перед творениями великих забытых учителей своих. С трепетом нежных, побледневших от мрака рук своих, перевертывают они листы своей истории, укрепляются новым познанием земли, и ждут изнеможения победителей, восход своего дня, опьянения власти и вторжения своего на постройку, которая будет радостью для зодчих своих.

Так сменяются роды духов в вечном творчестве, как сменяются орудия землепашца по положению земли к солнцу или движению времен года. И как глубоко лежащая бесплодная земля, которую нужно перевернуть плугом, чтобы в ней разложились жи-

вительные вещества для произрастания жизни, — сокровенные силы ждут по всему простору земли ураганного плуга воли. Но и воли подчиняются закону, по которому все низшие формы работают для высших, все руки для нежных, могущественных духовных рук, познающих смысл и взаимозависимость всего творения. Не заключается ли надежда земли в том, чтобы наивысший род духов взял власть над землею?

Шли по земле покорители, победители, мученики и безумцы воли. Под властными руками их как тесто месились народы, горели города, кипело страдание. И падали, наконец, обесиленные тяжестью сверхчеловеческой задачи смесить воедино расколотые множества и всю землю сжать навеки в кулак единого закона. Потерпели неудачу, ибо работу их разрушала в глубинах жизни недовершенная борьба духов. Но вечная жажда единства, которая, — даже если они не признавали этого, — положила начало тра-

гическому их безумию, сохраняется из века в век в воле миллионов: бурлит в душах их, как бурлила раньше, и высылает, когда подходит время, великих объединителей, как высылала. В борьбе религий и языков хочет видеть всю землю, весь космос, всю вечность. На развалинах городов и храмов расцветают сады мудрецов, дабы они и в духовном мире работали над святым делом объединения. Ради их мечты горит огонь всех горнил, борются труженики науки в лабораториях, рабы в копиях, отправители флотилий, князья рынков. Его блеск горит в лихорадочном взоре изобретателей, которые ищут постоянно новых путей, сближающих народы через моря, переносящих голос в дали и устанавливающих все более близкое общение между отдельными существами. Над поверженными статуями былых победителей и над надписями, покрывающими стены королевских дворцов, мечтают поэты.

Музыка и образы дают силу их

стихам, в которых оживает жест триумфаторов, желавших тщетно рукою слишком отважной затянуть над миллионами расставленные тенета веков.

Наиболее роковое страдание земли рождается из сдерживания и подавления воли, так что она не может развернуть своей магической игры произрастания и расцвета и сотрудничать с духовным родом своим. Это — боль от удара, изувечивающего творческие руки, страдание бессилия и ничтожества. Телесное страдание человечества редко вонзает топор свой так глубоко, что прекращается приток питательных соков к наиболее высоким ветвям духовного дерева. Оно часто отсекает только его боковые ветви и, как садовник, направляет корону его ввысь, без чего она не достигла бы желанной высоты. Но когда таинственный удар поражает самую душу и усыпляет ее летаргическим сном, — тогда рождаются те состояния духа, которые с такой глубиной прозрения постигли религиозные гении всех вре-

мен. Это состояние немого отчаяния, которое танец времен и миров превращает в погребальное шествие, и тысячелетние усилия народов в бессмысленную игру. Напрасно ищите вы потом во всех безумствах смысла и во всех ядах забвения. Не преодолете ужаса и пустоты, откуда, как из гигантского погреба, веет на вас ледяная тьма из космоса, цветущего звездами.

Минуют века, выявляются воли, вера поглощается высшей верой, а все — водоворотом, который уносит миры. Кто охватил чудеса непрерывного их движения? На каких счастливых звездах продолжается великолепие их, когда и на нашей бедной земле останавливаемся мы, потрясенные, над ослепительными возможностями жизни и мечты?

Есть ступени, на которых воля не знает уже ни ненависти, ни борьбы. Нежным сиянием сочувствия освещает она взоры. Все поняла она и задумалась думою, необъятною, как космос.

Уж не стремится ввысь. Свет высших миров меркнет для нее. Что созвучие сфер в сравнении с мучительной музыкой страдания страждущих сердец? Покорная, нисходит она в толпы братьев и силою, которою завоевывала она себе возвышенное место, стремится разорвать путы, сжимающие неисчислимы. Но, если можно поделиться хлебом своим с жадными устами, — можно ли поделиться с жадными взорами видением мира своим?

Но и над этой волей, царственной и покорной, которая не хочет видеть ничего, кроме земли и труда на полях братьев, есть еще ступени. Ступени, где воля перестает бояться необъятности страданий, где постигает она мистическую необходимость переходного времени, и, жаждущая, хотела бы иметь тысячу жизней, чтобы страдать, тысячу разумов, чтобы охватить все, заполнить жизнью все огни, обострить и ускорить духовную борьбу тел, и всеми крыльями мысли своей и мечтаний лететь, пока не достигнет

цели, славу которой она предчувствует, хотя и не может облечь ее в слова. Но целое небо звезд, все тайны времени, как весенняя мгла, покрывающая нерасцветшие волшебные сады, лежат между нею и целью. И все же взгляд ее не теряет лихорадочной веселости борца в наступлении и, непрерывно обманываемая, она не перестает петь, любить, верить и творить“.

Мы привыкли к разочарованиям. Мы привыкли к тому, чтобы те, которые издали, по их творениям, вычурным или ясным, кажутся нам Великими в своей сущности человеческой, что — Эти — они при подходе ближайшем оказываются испещренными пятнами пошлости.

Мы привыкли к этому.

И потому с тем большим удивлением подходишь к чешскому поэту.

Ибо у Бржезины слово, порожденное творчеством, ищет от жизни одежду соответственную, белоснежную.

И чем дальше к речи тихой и ровной отшельника яромержидкого я прислушивался, тем

яснее становилось мне то скрытое и сложное, что таится и бродит подпочвенно в душе чешского народа...

Стремление к цельности и ясности наряду с бесстрашием перед бездной глубокой и мистической.

Подходить к Бржезине с меркой обычной невозможно и бесполезно.

Влияние Запада или России, Толстого или Ницше, символизм или неокантианство — все то, о чем так легко говорить в применении к другим писателям, не находит отклика в отношении Бржезины. Ибо он прежде всего человек.

Человек-Творец.

Человек-Брат. Из тех братьев, о которых он сам сказал:

*„Через дали времен и пространств
тоскуют друг о друге братья одного
духовного рода... Умирая, они заве-
щают один другому богатства рода
своего...“*

Человек Творец... Человек...

В великом акте творчества своего он — пре-
творяющий Повседневность в Бесконечность.

Мы ищем корни человеческого Творчества,
истоки биогенетические — неизвестные и не-
ясные.

По законам каким — рождается, выявляется
Творчество — Творчество Человека?

Закон и Беззаконие!

Целесообразность или случайность?!

Через столетия — вспышками, яркими, ред-
кими, частыми глаголет природа.

Мы ищем закона. И в формулы готовые, схемы
отточенные хотим мы уложить волю Природы.

Мы ищем Причинность.

Вместо нее — властной рукой, насмехаясь
над нами, — Природа выводит буквами непи-
санными слово мудреное

„Энтелехия“.

„Я“ — „Великое Я“ в цели свои воплощенное.

Мы хотим познать тайну жизни.

День завтрашний.

Желания затаенные Великого Я.

Есть пути единственные, неизбежные для по-
знания „Непознаваемого“...

Устами жадными от чаши творчества мы от-
пить должны.

И через интуицию безрассудную, непродуманную Тайна Жизни станет нам яркой и близкой.
Мы — Люди!

И в безумии нашем людском, горды мы своей Повседневностью, „Своей Землей“.

Себя — утверждаем мы владельцами Землею.

Опьяненные радостью власти забываем законы наджизненные.

Насмехаемся мы над тягой немногих из нас, тягой Великой Души к Наджизненности.

И нас ждет возмездие, то высшее правосудие — руку которого чувствуем мы в предвечернюю прохладу уходящей жизни.

.
.

Один из Братьев — Братев Творцов.

Мы должны к нему, к Бржезине, к этому скромному учителю, сказавшему слово о „Великой Энтелехии“ подходить без рамок определенных, без формул зазубренных.

„Романтик. Импрессионист. Неореалист“.

Нет!

Нет необходимости подыскивать сравнения, наклеивать ярлыки к творчеству Бржезины. Ибо

чертой отличительной, наизамечательнейшей творений его — это „Ощущение Жизни“.

И устами его Жизнь слово свое захотела сказать.

О себе, творящем, говорит Бржезина ярко:
„До наших лиц, горящих экстазом,
Коснулась прохлада веков
и охваченные счастьем движения
своего...“

(Пели горящие звезды)

Счастье движения...

Между творчеством человеческим и движением Непрерывности и Бесконечности — нити яркие и неоспариваемые протянуты Жизнью.

И кажется Бржезине, что может познать он, что понимает он сущность жизни — Природы.

„И столетия целые ложились меж рукой моей,
собиравшей цветы, и ими...

И звезды, как угасающие огни в холодных
волнах сияющих морей...

Бурлили и гудели надо мною—мною незримые“.
(Природа).

Все творчество Бржезины направлено по пути единому...

По тому пути, который знаменует собою Творчество Действенное, не извращенное повседневностью.

Творчество Великого Духа Человеческого...

Творчество познания.

Творчество уразумения Правды Жизни.

И творчество Бржезины неоскверненное Повседневностью — есть творчество Гения.

Но есть одна черта в творчестве Бржезины — отчетливая и любопытная.

Это влияние прошлого.

Прошлого его народа. Его прошлого.

„Жажда правды, жажда познания“.

„Искание правды“.

Большая наследственность Чешского народа проявившаяся в скромном отшельнике яромержицком — образом гениальным и мощным.

Чехи — это народ Яна Гуса — так любят говорить чехи о себе.

И если хотим мы найти пример наиболее

разительный, пример наиярчайший того, как идея осознанной морали, идея чистого духа проходит неизменной через столетия — то этот пример дан чешским народом.

Между Яном Гусом и Бржезиной лежат века...

И поверхностно, внешне, по облику своему повседневному чужды друг другу — реформатор-философ и поэт.

Один преисполненный энергии неисчерпаемой и многоликой, Проповедник — Апостол — Народный Вождь.

Другой — отшельник-поэт. Скромный, бояливый до людей, отрицающий повседневность и понявший правду в откровении Творчества.

И вместе с тем Отакар Бржезина нитями непрерывными и ясными связан с Яном Гусом. Ибо сутью чешской реформации, сутью чешского возрождения была *этика в человечестве воплощенная*.

И чешские братья — ближайшие последователи и ученики Яна Гуса — камнем краеугольным учения своего поставили Возрождение Человека.

И Дух Человеческий, дух человека на земле находящегося, был объявлен ценностью, достойной культа неистового и рьяного.

И Бржезина — словом своим, творчеством рожденным, вновь возвестил, именно возвестил, а не сказал — реальный смысл чешского нео-реформизма. И то, что говорил и говорит Масарик логикой ума своего воспринятое, то Бржезина отразил интуицией понятое. Глубоко затаенные желания и влечения души своего народа.

И близким, одним из самых близких учеников Яна Гуса должен считаться Бржезина:

- Одним из тех, кто дал Чехии возрождение.
- Одним из Чешских Братьев

„Чрез дали времен и пространств тоскуют друг о друге братья одного духовного рода“.

И века не в силах одолеть идею человеческую.

Вопросы — задачи науки и техники
в области биологии и медицины
в настоящее время являются
одними из наиболее важных
и интересных для общества.
Вопросы жизни и смерти,
здоровья и болезни, долголетия
и старости — это вопросы,
которые волнуют каждого человека.

Вопросы жизни и смерти,
здоровья и болезни, долголетия
и старости — это вопросы,
которые волнуют каждого человека.
Вопросы жизни и смерти,
здоровья и болезни, долголетия
и старости — это вопросы,
которые волнуют каждого человека.

Вопросы жизни и смерти,
здоровья и болезни, долголетия
и старости — это вопросы,
которые волнуют каждого человека.
Вопросы жизни и смерти,
здоровья и болезни, долголетия
и старости — это вопросы,
которые волнуют каждого человека.

Вопросы жизни и смерти,
здоровья и болезни, долголетия
и старости — это вопросы,
которые волнуют каждого человека.
Вопросы жизни и смерти,
здоровья и болезни, долголетия
и старости — это вопросы,
которые волнуют каждого человека.

Вопросы жизни и смерти,
здоровья и болезни, долголетия
и старости — это вопросы,
которые волнуют каждого человека.
Вопросы жизни и смерти,
здоровья и болезни, долголетия
и старости — это вопросы,
которые волнуют каждого человека.

ЭДВАРД БЕНЕШ



Он говорит просто. Очень просто и немного интимно. И в разговоре его поражает вас одна черта. Редкая в людях активных, в политике вращающихся. Своеобразный прагматизм, житейский и повседневный.

Не только слушает, но и понимает. Хочет понять.

И другая черта — любовь к людям. Не к человечеству, не к дальнему человеку — нет — прежде всего и больше всего — к ближнему. Сегодняшнему, вчерашнему, завтрашнему встречаемому.

Улыбка у него странная. Немного робкая и грустная. Так улыбаются люди, много думавшие и много познавшие.

Такая улыбка была у Чехова. Так улыбался, говорят, Достоевский.

Только улыбка, но не рот — отнюдь не рот. Ибо линии рта — суровы, тверды и говорят об активности волевой.

Такие рты у Чешских Братьев, — те же линии рта у Жижики.

Чем-то он напоминает Бржезину.

Обликом внешним, формою лба, широкого, владеющего лицом, походкою...

Не только этим.

Ибо сходство между ними скорее духовное, чем физическое, скорее осязаемое и ощущаемое, чем поддающееся анализу и уразумению.

Маленький городок. Даже не городок.
Ибо трудно назвать Kozlany — городком.
Местечко — поселок. Плохо мощенные улицы.
А кругом поле.
№ 101.

Домик нескладный, вытянутый, длинный точно сарай.

Окна маленькие — деревенские.

Беднота неприкрытая — почти нищета.

И детство его было суровое, полное лишений и забот. Отец — простой сельский человек, тяжелым упорным трудом содержавший многочисленную семью: десять детей.

„Дать образование детям — поставить их на ноги”.

И в этом своем стремлении старый Матвей Бенеш был требователен и неумолим.

К непрерывной работе принуждал он своих детей — не было ни праздников, ни отдыха.

„Чтобы помнили, когда будете господами, каков на вкус твердый хлеб”.

Но не только суров был старый Бенеш. Добротой, любовью ласковой, благодаря ему и его жене была заполнена жизнь его детей. И ни-

щета полуприкрытая, лишения, переносились благодаря этому легче и незаметнее.

Вечерами — любил старый Матвей рассказывать сыну — был Эдвард самый младший в семье — о прошлом чешского народа, о том времени, когда независимая Чехия была сильным государством, когда не было иноземного ига. И чаще и больше всего возвращался он к своей излюбленной теме — к Яну Гусу, борьбе Чешских Братьев и к битве на Белой Горе. И склонившись к старым, потертым от времени картинкам, подолгу рассматривали лица национальных героев: старик с густой белой бородой и маленький, худенький, с тоненькими ручками и удивленными глазами ребенок.

Так в мальчике родился революционер.

Он грезил о борьбе с врагами своего народа. Все мысли и мечты его, двенадцатилетнего мальчика, неизменно вращались о „великом горе” своего народа.

Он не понимал — его детский ум не мог уразуметь — как произошло поражение чешских войск на Белой Горе.

Он жадно читает, знакомится с чешской историей, изучает Коменского, Палацкого и других вождей и деятелей чешского возрождения. Над постелью у него висит Гавличек, над изголовьем — старый Жижка.

И ему ближе всех и понятнее Жижка: целый в своих желаниях, твердый в своих поступках. Здесь — все понятно.

И ода, первое детское, слабое по форме, но сильное по содержанию произведение посвящено им — чешскому революционеру, вождю Таборитов.

Любовь к народу, его народу владеет его душой.

Почему на долю его родины выпали столь тяжкие испытания?

Каковы причины, которые мешают освобождению от рабства Габсбургов чешского народа? Были жертвы, была борьба; но кажутся ему они недостаточными. Он не осуждает, не может осудить боевую революционность Жижки.

Борьба! Нужна борьба!

И грезами, детскими грезами о борьбе за освобождение Чехии живет мальчик-подросток.

Он многого в жизни не понимает, над многим задумывается.

И страдания людей, их горе — волнуют его и печалят.

Он спрашивает отца: „Неужели повсюду как здесь, как у нас — тяжелая работа, болезни, горе?“

И хочется ему спасти не только свой народ, но и все человечество. Хочется встать на защиту несчастных, обиженных, обездоленных.

Он — маленький, слабый мальчик.

И собирает он, копит деньги — чтобы раздать их самым бедным, самым несчастным.

И от беспомощности своей, от невозможности помочь горю людей — он тоскует. Болеет.

И старый отец его увещевает: надо работать.

Так формировался человек, который задачей своей жизни поставил служение человечеству. Не только служение, но и борьбу за человечество и как за часть человечества, часть более ему близкую и более обездоленную — борьбу за свой народ.

Человеком, и прежде всего Человеком — вошел Эдвард Бенеш в жизнь.

Он вошел в жизнь — обрекая себя — на службу Человечеству и своему народу, заранее отказавшись от прав своих повседневных на „свое бытие”.

Бедность, беспрестанные лишения, борьба за существование — таков фон, на котором протекали юношеские годы Эдварда Бенеша.

Складывался характер — создавался человек.

Его все интересует, все волнует, но больше всего люди. Он хочет понять их, он тянется к ним и по детски неумело их изучает, их познает. Логика и психология — это те науки, которые приковывают его особенное внимание.

„Хочу понять людей”. Но как? Как познать — и он ищет путей познания. Он их конкретизирует.

И нет в этом желании юноши отвлеченности или надуманности. Вся душа его заполнена великой любовью к людям. Ко всем, ко всякому человеку, близкому-родному и дальнему. И вот эта то любовь и толкает его почти бессознательно на путь изучения „человека”.

И наряду с этим — философским устремлением — юноша — преисполнен активности.

Его характер подвижный, энергичный — требует повседневной, беспрестанной деятельности. Созерцание и отвлечение чужды ему.

Активность и борьба!

Борьба с препятствиями, с неудачами, преодоление всевозможных трудностей столь обычных в жизни человека, принужденного бороться за право свое существовать — эта борьба его радует и принята им беспрекословно и с удовольствием.

Он любит игры.

Притом такие, где его энергии, его активности предоставляется возможность развиваться.

Он ярый футболист — один из лучших футболистов пражского клуба „Славия“.

„Всегда спокоен, выдержан, находчив, быстро ориентируется и необыкновенно активен“ — так характеризуют его, как футболиста, как участника состязаний.

И недостаток силы уравнивается этими качествами.

Он ищет системы. Он хочет уложить жизнь в законы — в готовые рамки. Не только людей, но и жизнь человечества, и законы, которыми

эта жизнь управляется — он хочет познать, хочет видеть их: ясными и простыми, все объясняющими. Его ум требует этой ясности. И марксизм с его упрощением, с его схематизацией — постепенно захватывает юношу.

Он почти позитивист, почти материалист, почти марксист.

Почти — ибо в его юношеском сознании — инстинктивный протест против схематизации.

Жизнь сложна.

Сложнее и глубже Ее процессы, чем хотят представить материалисты.

„Машинная“ концепция жизни его не удовлетворяет.

Схема нужна. Система необходима.

Но кроме схемы и системы, кроме „Машины Жизни“ должно существовать Нечто.

И хотя он отрицает католичество, но христианство его волнует и беспокоит. Ибо оно близко и дорого ему, как утверждающее основой Жизни Правду.

Он не может отвергнуть христианство. Оно ему близко, дорого, понятно.

Он принимает марксизм. Классовую борьбу, законы экономического развития государств кажутся ему логически неоспоримыми — но отказ от индивидуальности? от „человека“? Он, который чутьем, инстинктом своим тянется ко всякой яркой индивидуальности.

Воспоминания детства, Жижка и Ян Гус...

И все более и более подчиняясь позитивизму и марксизму, юноша оставляет часть своей души свободной от все упрощающего анализа, оставляет лазейку для своих романтических настроений.

Трудно предсказать чем окончилась бы эта борьба в душе юноши, если на пути его не встал один человек, имевший на него большое влияние — Томаш Масарик.

Уже студент-философ Бенеш усиленно посещает лекции-беседы Масарика.

И сильнее всего привлекает в этих лекциях студента, считающего себя материалистом и марксистом, „великий идеализм лектора“.

„Его призыв к поискам правды, вера его в правду и в конечный ее триумф, его уверенность и спокойствие,

с которыми он всегда шел за добром, которое должно было рано или поздно победить — все это должно было научить расценивать жизнь иначе, чем это делается обыкновенно; это должно было научить быть оптимистом и особенным индивидуалистом, который ищет однако критерия для поступков в своей собственной совести, но не отстраняется тем самым от окружающей среды. Масариков оптимизм и идеализм зовут к труду, к радости жизни и при этом к настоящему пониманию ее, к стремлению к чему-то высшему, большему, лучшему“ (1910 г.)

Именно в то время, когда формировалось мировоззрение Бенеша, когда создавалось отношение его к жизни — влияние Масарика сказалось очень сильно на этом процессе.

„Характером я был в то время мало эмоционален, склонен к рассуждению, рационализму и материализму, имел отрицательное отношение к религии, воспитанное во мне антиклерикализмом, материальные обстоятельства во время учения толкали меня к соци-

ализму. Я имел в себе много предпосылок для отпора идеям и влиянию Масарика. Чувствовал, однако, часто инстинктивное отрицание и отвращение и к тому, что некогда утверждал". („Česká Mysl". 1910 г.)

Но поддаваясь влиянию учения Масарика, воспринимая от него критическое отношение к жизни и к людям, так же как и его великий идеализм — Бенеш нашел свой путь, предначертанный и предуказанный его прошлым.

Из него создавался *человек действия*.

Проблемы общего характера философские и социальные, споры характера исторического, решения отвлеченные — становились для него все более и более чуждыми и далекими.

Его критицизм ширился и углублялся. Критицизм переходил в прагматизм.

Его познание — в самопознание.

Он и Человечество.

Человечество столь многообразное и многоликое, со множеством несчетным своих правд.

У всякого из малых сих — малая правда. И все эти правды борются друг с другом — и нет возможности найти для всех единой „Великой Правды“.

И далее: борьба за жизнь.

Это повседневность.

И эта повседневность страшнее и ужаснее многоликой правды. И муравьями, которые бегут словно без смысла и без толка взад и вперед кажутся ему люди, Человечество.

И между ними, между миллионами — он. Подобный им.

И любовь к этому Человечеству, столь несчастному и многострадальному, вечно ищущему и никогда не находящему, заполняет все мысли и всю душу молодого студента.

Он чувствует себя иногда вне Человечества. Стоящим в стороне.

Прагматизм психологический все сильнее захватывает его. И все яснее становится ему насколько решение проблем характера отвлеченного, философского — несущественно, малоценно.

Есть жизнь. Есть повседневность.

И у этой Жизни-Повседневности есть свои неотложные задачи. И разрешение этих задач

важнее для человечества, чем поиски „Единой Правды“.

„Ищите правду сегодняшнего дня“ — разве не это диктует властно голос повседневности.

Так исподволь Бенеш от философии переходит к социологии, и не столько к наукам социальным, сколько к проблемам социального бытия.

Окончив философский факультет в Праге Эдвард Бенеш приезжает в Париж.

И попрежнему бедность, почти нищета ему сопутствуют.

У него нет денег. И нет надежды их достать.

Но разве это не лишняя причина быть счастливым и активным?

Он имеет одно — веру в себя. Он не только верит в себя, но он уверен в себе. Он знает себя.

„Я знаю совершенно определенно, что я могу и на что я способен. Я никогда в жизни не разочаровывался и не разочаруюсь. Знаю, что достигну цели, ибо ставлю перед собой лишь

достижимые цели“ (стр. 14, *Статьи Э. Бенеша*).

И как первый этап, этап необходимый и неизбежный, к активной его деятельности, кажется ему познание самого себя.

„Чтобы быть уверенным в себе, надо себя знать. Надо знать — к чему ты способен, что по силам тебе“.

И второе — познать тех, с которыми и для которых должна протекать твоя жизнь и деятельность. Познать людей.

И для этого, с этой целью и приехал Бенеш в Париж, не только учиться философии, но учиться жизни.

Посвятив себя на служение человечеству, задачей сегодняшнего дня поставил себе он — самоусовершенствование. И лозунгом его парижской жизни было: „беспощадная работа над самим собой“.

Rue Tournefort. Студенческая комната. Жизнь аскета. И упорная, неустанная работа.

„Во всяком случае должен работать страшно много, не имею ни одной свободной минуты. Жизнь здесь дорога, живется трудно и наши

гонорары недостаточны“, пишет Бенеш своему брату в 1905 г. Он изучает языки, занимается философией и корреспондирует в пражскую социал-демократическую газету „Právo Lidu“.

На это — на газетный гонорар — он и живет.

Познавая человека, познавая себя, он все больше и больше приходит к сознанию о значении воли в жизни человека. Шопенгауэровская концепция отчасти ему понятна. Только отчасти. Ибо он — прежде всего оптимист. Но воля, как проявление активности человеческой, как базис творчества, воля — как основа жизни, как цемент, коим людская жизнь — должна быть спаяна, — им принята. И он ее в себе культивирует.

И в этой работе над собой, над своим характером Эдвард Бенеш проявляет совершенно изумительные терпение и настойчивость.

„Победа даром не дается, ей предшествует неустанная систематическая работа. И только такая победа и ценна и прочна“.

И к этой работе над собой он относится чрезвычайно просто. Ибо кажется ему иногда, что он только орудие в руках Провидения.

Он любит Бергсона и Джемса.

Ибо они открывают дорогу его Вере.

Ибо они позволяют ему, оставаясь верным реалистическим тенденциям, принять Бога.

„Вера в Бога ему необходима для жизни“.

Эволюция мира, ход жизни Человечества, пути мировой истории кажутся ему руководимыми законами надчеловеческими.

Он не удовлетворен Причинностью. *Только* причинностью. И утверждает он, подобно Массарику, Целесообразность, как Категорию, как Априорное Синтетическое Суждение.

И нет в вере Бенеша в Бога — догматизма или нетерпимости. Но есть много общего в его вере с верой Льва Толстого.

„Познай самого себя.

Ибо познав себя, познаешь Бога.

Единственный путь к познанию Бога — через самопознание и познание подобных тебе

Величайшая любовь к Человечеству приобретается через познание людей“.

И Бенеш, который любит Человечество и послушным данником Человечества себя считает — в этом своем отношении к Человечеству и к богопознанию очень близок к мыслям и настроениям великого человеколюбца Льва Толстого.

И это любопытно до чрезвычайности.

Ибо к своей религиозной концепции приходит Бенеш долгим путем философского анализа.

К той же концепции, к тому же утверждению пришел и Толстой, но сколь отличным от Бенеша путем — через творческий пафос, через великое отрицание, через ненасытную жажду „яркого познания“.

Но у того и другого — один стимул, одна отправная точка: любовь к Человечеству, любовь к Правде.

И эта вера в Бога не позволила ему встать в ряды социал-демократической партии.

Д-р Шмераль, ныне лидер коммунистов, тогда вождь чешских социал-демократов, предлагал ему вступить в партию.

Бенеш отказался. Не только по мотивам идеологического характера, но так как он „относился с осторожностью к Шмералю, правоверный марксизм которого был ему неприемлемым“.

Позже он вступил в партию реалистов, но „я мало участвовал в ее жизни, был как бы в мирной оппозиции, был всегда против так наз. „каменного

реализма”, поскольку он казался мне неполитическим, нежизненным, невозможно доктринерским и мелочным, в корне не революционным, нерадикальным, хотя по форме он и был весьма радикальным. Я работал с молодежью и искал возможности более тесного сотрудничества и создания наивозможно большого политически и социально прогрессивного блока“ (С. М. 1910).

Политиканство, политические споры, межфракционные раздоры были ему чужды и непонятны. Более того — органически партийность была чужда его натуре. Индивидуалист, твердо верующий в себя и в свою силу воли — в партийности он видит стремление принизить, уменьшить активность и волевывявление наиболее ярких элементов партии.

„Не трудно выступать на политическом поприще, гораздо труднее воздержаться от этого выступления“.

И однако как часто такое воздержание бывает необходимым.

„Незрелый политик, незнающий себя и незна-

ющий чего он хочет и на что он способен, что может быть вреднее для страны и для партии?"

Социализм его привлекает.

И в статьях своих того времени не раз возвращается Бенеш к различным сторонам, к различным проблемам социалистического движения.

Не примкнув к социал-демократическому движению, отказавшись вступить в социал-демократическую партию, Бенеш чувствовал, сознавал себя социалистом.

Но был он „социалистом без догмы“.

Ибо казались ему программы социалистических партий нежизненными, утопичными и абстрактно-неясными.

Революционность социалистических партий была ему непонятна и чужда благодаря своей фразеологии.

„Общепризнанным законом общественной жизни является теперь теория прогресса. Сегодня мы везде и все эволюционисты: в экономике, в политике, морали и религии, в естественных науках — во всем. И поэтому наше время такое релятивистическое.

Все мы релятивисты. А эволюционизм и релятивизм приводят, как к следствию, к скепсису. Все мы скептики. Абсолютно ко всему, что бы то ни было, мы питаем недоверие“.

„Являемся ли мы идеалистами, мы никогда не бываем ими в отношении достижения какой-либо цели, или в отношении к какому-либо делу, к борьбе за прогресс, за перемену, которая, когда будет совершена, сама станет предметом новых столкновений, может быть со стороны нас самих.

Такими скептиками являемся мы теперь. Стараемся свой скепсис соединить с настоящим искренним, решительным, но на время пониженным идеализмом.

Особенно в сфере социальной жизни надо быть эволюционистами, релятивистами и такими скептическими идеалистами или идеалистическими скептиками“.

В то же время любовь к человечеству, любовь к людям покойся у Бенеша на своеобразном скепсисе.

„Любовь моя к людям не похожа на любовь русских мечтателей-идеалистов.

Они не только любили, но и идеализировали своих ближних и своих дальних, свой народ и вообще человечество.

Я пришел к любви, к теперешней моей любви к людям — человечеству через отрицание, через жестокую суровую критику мне подобных, через всепроникающий анализ. Я познал существующее — и принял его таким как оно есть.

Я не закрываю глаз на недостатки людские и не строю себе иллюзий на их счет. Давно понял сколь великие трудности лежат на путях развития человечества и понял, что большая часть этих трудностей зависит от свойств отрицательных человеческого характера“.

.

„У гуманизма есть один враг — этот враг наследственность. Только упорная систематическая работа над „выпрямлением“ наследственности — может дать нам победу. Работа предстоит чудовищная по своим размерам“.

.

„Но мой скепсис не мешает мне быть оптимистом.

Ибо это не скепсис разочарования, а скепсис творческого действия.

Это скепсис, где критическое отношение к людям и жизни влечет за собой новые импульсы к работе, к борьбе за нашу правду и за наши идеалы.

Мой скепсис позволяет мне точно учитывать действующие силы, избегать разочарований и полагаться только на тех, кого я понял, узнав в совершенстве. И мой скепсис к людям не служит помехой любви моей к Человечеству. Ибо люблю я людей такими, какими создала их судьба, со всеми

их недостатками, со всеми их слабостями.

И моя скептическая любовь говорит мне, убеждает меня в том, что нет оснований приходить в отчаяние и падать духом, а надо твердо верить в то, что упорной систематической работой удастся победить темные стороны человеческой натуры, что удастся обуздать наследственность и реализовать идеи гуманизма”.

Им владеют мысли о всеобщем мире.

Его волнует и беспокоит вражда, которая царит повсюду.

Считая себя эволюционистом — в практической повседневной работе — Бенеш душой своей принимает — революцию.

Он революционер, ибо не боится он новых обобщений и новых, самых смелых и радикальных положений.

Он революционер — идеологически.

Но будучи революционером он зовет к постепенной и медленной реализации революционной идеологии.

Он революционер-реалист.

„Долой утопии, долой громкие лозунги и слова. Самые революционные слова те, которые не произносятся, а делаются”.

И он, который оказался одним из самых смелых революционеров нашего времени, никогда, ни до того, ни после не говорил революционных слов и речей.

Он только *действовал*.

Русская революция пятого года его захватила. Она пробудила в нем интерес к России.

Знакомство с журналистом Швиховским и русскими революционными кругами Парижа вовлекло его далеко и глубоко в круг интересов российских.

Он изучает русский язык, читает Чернышевского, Короленко, Михайловского, увлекается русской литературой, знакомится с ней в подлинниках. Хочет ехать в Россию.

Россия становится для него близкой, родной и заочно любимой.

Он не идеализирует ее, он не связывает с ней никаких политических надежд и мечтаний.

Она привлекает его своим идеализмом, своей тягой к „Правде Великой“.

Его интересуют русские люди, как индивидуальности. Он охотно с ними знакомится, изучая их характер, быт и образ мышления.

Он верит в будущность России, и не только России, сколь русского человека.

И глубоко печалится о тех чертах русского характера, которые мешают твердому и ясному действию.

Он не причисляет себя официально ни к руссофилам, ни к панславистам.

Ибо не Россия, как таковая, а русские люди, его интересуют.

И он скорбит о том, что русские не интересуются Чехией, ничего о ней не знают:

„вообще никто, никто нас не знает, не знает о нас ничего. А кто знает нас, тот знает как ничтожных бедных чиновников. Русские смотрят на нас свысока потому, что многие из чехов в России, даже большинство из них является чиновниками и являются всюду наихудшим бюрократическим элементом. Каждый должен стыдиться за чехов в России. И также наиболее образован-

ные русские знают о нас, что мы в Австрии являемся тем же, и дополняют впечатление, видя эти экземпляры в России“ (1905).

Оторванность от России, отсутствие у русской интеллигенции интереса к Чехии, культурная оторванность между двумя родственными славянскими народами — заставили Бенеша с особым скепсисом отнестись к мечтаниям чешских русофилов.

Ему становилось ясно, что надежды, возлагаемые многими чешскими общественными кругами на царскую Россию, покоятся на зыбком основании.

„Что связывает нас? Где почва для совместной практической работы? Где точки соприкосновения? Где черта для взаимного понимания?“.

Глубоким скепсисом проникается Бенеш в отношении практических возможностей реализовать планы панславистов.

А наряду с этим скепсисом — глубокий интерес ко всему русскому, любовное отношение к русской „Душе“.

Для чехов, для каждого чеха славянская проблема была проблемой их бытия, их независимости, их освобождения.

Отношение к России, пути разрешения общеславянского вопроса, будущее славянства — все это занимало мысли, волновало души до-революционной австро-венгерской Чехии.

Издавна надежды в одинаковой мере и чешских политических деятелей и чешского народа возлагались на Россию, на помощь последней в деле освобождения чешского народа от ига Габсбургов.

Все русское, все, что прямо или косвенно было связано с Россией, вызывало в чехах чувство симпатии, доброжелательства и глубокого интереса.

Россию идеализировали...

Закрывали глаза на печальную действительность, забывали, не хотели знать темных сторон русской жизни.

Бенешу ясно, что и панславизм и неославистские концепции — не жизненны и не пригодны для чешского народа, для дела его освобождения.

„Славянский мессианиззм Коллара не реален“
и критика Палацким и Гавличком колларов-
ского романтизма встречает в Бенеше горячего
сторонника („Slovanský přehled“ R. XVII).

Ибо панславизм был прежде всего панрусиз-
мом. При этом было забыто все.

Забыто, что на одной стороне —

Православие

Самодержавие

Восток

Инстинкт и набожность

а на другой стороне —

Демократия

Запад

Разум.

В одинаковой мере неприемлема для Бенеша
славянская программа Всеволода Сватковского,
ибо

„она неудачный компромисс между
старым строгим панславизмом и австро-
славизмом“.

.

„Я был противником панславизма.
И считал его мертвой, давно отжив-

шей программой, отслужившей свою службу...”

„Был противником и австрославизма — вредного делу чешского освобождения и по сущности своей глубоко реакционного“ („Problémy slovenské politiky“, E. Beneš).

„Между славянофильством русских и чехов глубокое различие, настолько глубокое, что больше можно найти пунктов расхождения, чем точек соприкосновения между ними.

Славянофильство русских — это достояние небольшой группы лиц, близких к правительственным сферам, консервативно и даже реакционно настроенных. Для них — для этой группы лиц славянофильство средство для усиления могущества Российской Империи, для реализации царьградских мечтаний.

Славянофильским настроениям чужд не только русский народ в его целом, но и российская интеллигенция“.

Существовала ли и существует ли в дейст-

вительности „любовь“ у русского народа к его младшим братьям-славянам? Ведь —

Чтобы любить — надо знать
или во всяком случае
стремиться — узнать.

Вместе с тем в чешском, равно как и в сербском народе „славянофильство“ — реально существующее есть достояние не только отдельных групп или партий — но всего народа.

„Каждый чех стремиться познать Россию и русских“...

Каждый чех — славянофил в полном смысле этого слова. Все прошлое его страны, вся история его родины за последнее столетие властно диктует рядовому чеху это почти инстинктивное влечение ко всему русскому, к России. Ибо интерес этот — связан с надеждами и чаяниями чешского народа на освобождение.

Политически представлялся вопрос особенно сложным, ибо с одной стороны было самодержавное правительство, неограниченная монар-

хия, с другой стороны — проникнутый демократическими настроениями чешский народ.

Практически представлялось неясным, какова будет судьба глубоко демократической Чехии, в случае, если своему освобождению будет она обязана монархической России.

Отрицая панславизм и неославизм, отмечая слабые его стороны, Бенеш в то же время являлся — еще двадцать лет тому назад — горячим сторонником всеславянского объединения.

Славянство — по его мнению — должно было играть в будущем крупную политическую в международном масштабе роль.

Исповедуемые молодым доцентом взгляды нашли свою точную формулировку и свое применение только в последнее время, когда Э. Бенеш в качестве министра иностранных дел Чехословакии смог осуществлять свою „славянскую“ программу, основа которой — демократичность.

„Всякий недемократический национализм одного из славянских народов заранее исключает славянскую политику. Исключает новую славян-

скую, действительно славянскую политику. Новая славянская политика, действительно славянская и всеславянская может быть формулирована только демократами, а не шовинистами“ („Slovanský přehled“ E. Beneš).

„Славянские народы отличаются одной общей чертой — демократичностью“.

„В этом их сила“.

„В этом их будущность“.

Вернувшись в Прагу, после окончания парижского и дижонского факультетов, Э. Бенеш приступает к ученой и учебной весьма активной деятельности.

Выбранный приват-доцентом пражского университета и профессором высшей торговой школы, он пишет ряд книг и статей, посвященных конкретизации своих социальных взглядов.

Демократия — идеологически — представляется ему „цельным философским воззрением на жизнь, философской и социальной системой, жизненным планом проникающим насквозь и во всех

направлениях в жизнь тех людей, которые уверовали в новую демократическую религию“.

Бенеш принимает демократию, как философскую и социальную концепцию.

Ибо „демократия не есть отвлечение, не есть утопия, это — повседневность, это — борьба человека за сегодняшний день, за свои элементарные, ничтожнейшие права“.

„Демократия не только не утопия, но она есть полнейшая реальность, и как таковая она дает возможность ежедневного и всестороннего практического применения своих принципов, проведения их в жизнь. И самое главное то, что демократия в основе своей глубоко идеалистична, ибо вся она построена на „Человеке“.

„Понятие Человека вместе с понятием Бога является высочайшей ценностью, которую мир имел и может иметь. Понятие „Человек“ в своем истинном значении может быть един-

ственной целью всей социальной деятельности, т. е. целью, к которой все направлено, вокруг которой все вращается и которая является первым социальным требованием“.

„Человеческая жизнь — величайшее богатство, существующее в обществе. Помогая Человечеству жить человеческой жизнью, приличной, благородной, как в физическом, так и в духовном смысле, материальном и моральном, экономическом, социальном и культурном — вот цель, которую должна преследовать каждая истинная политика. В каждом человеке необходимо видеть прежде всего его человеческий образ“ (Бенеш, стр. 55).

„Понятие человечности-гуманности выражает вполне содержание философии демократии“ (стр. 56).

„Процесс демократизации идет, неудержимо развиваясь. И развитие это особенно важно в области экономической жизни.

Быть демократом экономическим, быть им последовательно, идти в этом

направлении шаг за шагом, не отступая от философии демократизма, означает быть наирадикальнейшим социалистом“.

Для Бенеша практический социализм сегодняшнего дня — это осуществление принципов демократии.

Демократия, в понятии Бенеша, опирается в своей ежедневной политической работе на два весьма важных фактора, без которых она не мыслима.

На демократическое понимание труда и на науку и правду.

„Демократия прежде всего означает труд, великий труд, главным же образом мелкую, последовательную, непрерывную, созидательную работу“.

„Другим фактором демократии является наука. Наука, т. е. современная наука, становится чем дальше, тем больше, всеобщим достоянием народа, поддерживает развитие демократии“, а „наука в свою очередь есть ничто иное, как искание правды, т. е. честность, откровенность, прямота в каждой политической работе, не го-

вора уже об этических основах философии демократии — должны быть дальнейшим основным и неизбежным фактором каждой демократии“ (стр. 76).

Бенеш ясно сознает трудности.

Ибо для него

„задача демократии и особенно задача демократического авторитета есть ничто иное, как проблема воспитания в демократии, как вождя, так и масс... Иными словами мы сейчас только воспитываемся для демократии“...

„Мы стоим на переломе между монархически-аристократическим и демократическим обществом. Демократия все еще, как мы видим, находится в стадии перерождения; мы покинули одно состояние, но не достигли еще полностью новой ступени.

„Готовой демократии сейчас нет; демократия постоянно создается и необходимо постоянно охранять, поддерживать, беречь, нужно непрерывно за нее бороться. В этом отношении она и является именно идеалом, в этом для сознательного демократа ее ве-

личие и благородство, в этом отношении истинный демократ — герой, ибо вечно ведет непрерывный, тяжелый и пепрестанный бой“...

„От демократического вождя не требуется смерть, наоборот, как сказал Гавличек, от него требуется жизнь и работа без передышки и отдыха.

В этом соединяется все, что мы называем трудностями демократии: в основе это постоянная и непрерывная борьба за создание демократических вождей, которые умели бы применять государственный авторитет не абсолютическими и не аристократическими путями, но так, чтобы он был свободно и охотно принят широкими народными массами“ (стр. 89).

Для Бенеша правильно понятые демократичность и революционность идентичны:

„демократия своей философией революционизирует ума и сердца — идеологически она весьма революционна. Ее методы работы и деятельности эволюционны. Она никогда не выступает и не выступала против проведения

при определенном политическом положении и при некоторых условиях необходимой и насильственной революции, но принципиально она защищает эволюционный метод“.

И, Человек, с большой буквы написанный, утверждается Бенешем, как основа, как базис его демократизма. Ибо

„демократия стремится к лучшим и более совершенным людям. Основой ее философии является человечество, демократия — это апофеоз Человечности, это уже более, чем демократизм, это антропократизм. С другой стороны философия гуманности есть не только апофеоз человечества, а также единственное и действительное обоснование страстного и глубокого патриотизма. Демократия есть и может быть глубоко национальной, т. к. она основывает свое национальное чувство на сильном ощущении человечности и на наивысшем уважении к индивидуальности. Это единственная философия, единственная система, которая может этически

оправдать и защитить существование малого народа и государства и противостоять насилию могучих.

„Я верю в демократию, верю в демократического человека в демократического вождя, я верю в демократическое человечество и в демократическую гуманность. Не сомневаюсь, что этот идеал победит.

С этим знаменем победит наше государство и наш народ“.

Идеолог демократии, социалист без догмы, верующий в Бога и в человека, революционер по своей натуре, познавший себя и людей, скептик, реалист в своих действиях, в своей методике жизни, посвятивший себя служению человечеству и освобождению своей родины, философ-ученый, далекий от активной политики — таким застала Эдварда Бенеша мировая война.

Война.

И с началом войны Эдвард Бенеш — ученый и философ, более известный своими лекциями

и статьями, чем политической деятельностью — становится во главе революционного движения в Праге. Не только становится во главе, не только его возглавляет, но и стимулирует его и организует. Объявление войны ознаменовало для него необходимость действия.

Ибо одна идея, одна мысль стала ему ясна.

„Знаю обязанности, знаю, что пришел великий момент, когда каждый, кто хочет что-либо сотворить, может и должен быть великим орудием судьбы, промысла в великих и малых делах“ (*Воспоминания*).

И после короткого периода, когда казалось: „что то надо делать“ — Э. Бенеш отдается всецело революционной работе.

Решив действовать, приняв революцию, увидев конкретные ее пути и задания, он хладнокровно и властно входит в работу, постепенно вовлекая в нее целый ряд видных чешских деятелей.

В начале — несколько месяцев после объявления войны их было только несколько человек, решивших бороться за независимость Чехии: Томаш Масарик, Ян Гербен, Ян Гайек, Кирилл Душек и Доктор Веселый. Конспира-

тивно, с величайшими предосторожностями, собирались члены революционной „Маффии“ — так называлась эта организация — на квартире у доктора Бучка.

Работать приходилось в чрезвычайно трудных и опасных условиях.

Без денег, рискуя ежеминутным арестом и казнью, в атмосфере общего недоверия.

Насколько в начале войны настроение пражских общественных кругов было аморфным и далеким от революционности, показывает разговор, который Бенеш имел по поручению „Маффии“, со Шмералем — в то время вождем социал-демократии, а ныне лидером чехословацких коммунистов. Дело шло о привлечении Шмерала к активной революционной деятельности.

„Д-р Шмераль мне просто ответил, что мы сумасшедшие, что Масарик снова ведет народ к „Белой Горе“, что политик, который, как д-р Шмераль несет ответственность за большую партию и за нацию, такую азартную политику, как проф. Масарик,

вести не может и не смеет. Остальные же мои планы фантастичны“.

Закончил Шмераль этот разговор следующими словами:

„Вы скажете, что я циник, что я материалист, что я Бог знает что, но ведь политика не мечта, политика ложь, цинизм, интрига, обман, насилие и, если хотите, — преступление.

И этим всем против нас пользуются, я с этим должен считаться и потому не в праве пойти на ваши фантазии, которые могут проводить и защищать только безответственные люди“. (*Воспоминания о Маффии.*)

Постепенно удалось привлечь в Маффию — это было уже в 1915 г. после отъезда Масарика за границу — доктора Крамаржа, Рашина и Соукупа.

Деятельность Маффии расширялась и углублялась, принимая все более и более характер активно-революционный. Т. Масарик, сначала в Женеве, а потом в Италии и Англии — начал свою пропаганду независимой Чехо-Словакии

Эта пропаганда, равносильная объявлению борьбы с Австро-Венгрией, была решена в январе 1915 г. после совещания, имевшего место в Женеве между Масариком и тайно посетившим его Бенешем.

Не было денег.

И Бенеш и его жена отдают все свое состояние на революционную борьбу.

Это позволило молодой организации расширить поле своей деятельности.

Они достают важные военные и политические документы и их пересылают за границу Масарику. Они привозят заграничные газеты, журналы, печатают нелегальные воззвания, булдируют чешскую общественность.

Для своих сношений с заграницей они пользуются шифрованным ключом.

И неутомимыми сотрудниками Бенеша в этой повседневной, упорной, все расширяющейся работе были Гайек, Буттер и Сихрава.

Опытные журналисты, сотрудники „Часа“, Гайек и Буттер, пользовались газетой для информирования населения, для поддержки нелегальных связей, для получения заграничных газет.

Работа ширилась и углублялась.

Все большее число лиц, политически ответственных вовлекалось в эту работу.

И чем больше ширилась работа, тем опаснее и сложнее она становилась. Австрийская полиция усилила слежку. Революционеры — усилили конспирацию.

Гайек, ближайший сотрудник Бенеша, помогал в сношениях с курьерами, присылаемыми Масариком.

Собирались в кафе (Академическом и др.) обычно в ночные часы, когда посетителей бывает мало. Встречались на глухих улицах, где легче можно было избежать нескромных взглядов австрийских филеров.

Бенеш искал опасность. Он уверен был в удаче — так формулирует поведение Бенеша в эти годы его ближайший сотрудник Сихрава. И охотно, с удовольствием брался Бенеш за самые рискованные и опасные поручения.

В 1915 г., в апреле он снова едет в Женеву. Встречается с Масариком, который все настойчивее требует активных революционных выступлений в Праге.

Масарик настаивает, „что нужно во что бы то ни стало выступить публично, что нам даром никто ничего не даст, что полагаться только на союзников и на Россию, было бы величайшей политической ошибкой“.

Бенеш возвращается в Прагу. Он везет с собой ряд важных документов, революционных изданий и книг. Обыски на границе, дважды — в Буксе и Фельдкирхе. Находчивость и хладнокровие его спасают от ареста; ареста и вероятной казни.

Ибо в Праге начались аресты.

Арестован у себя на квартире д-р Шейнер, на другой день — при входе в свою виллу задержан доктор Крамарж. А 12-го июня (1915 г.) *агенты полиции увезли в венскую тюрьму и Рашина.*

На очереди был Бенеш. Его друзья ему сообщили о предстоящем аресте.

И тогда был решен отъезд его за границу.

Этого требовала не только личная безопасность, этого требовал весь ход революционной борьбы, ибо эта борьба потеряла свой локальный характер и приняла формы более значительные, характера международного.

Революция была объявлена еще тайно и подпольно в самой Праге, и открыто и громогласно заграницей. Это была борьба за чешскую независимость, за идеалы и мечтания всей нации. Эта борьба, принявшая размеры международные, была неизмеримо более ответственной и более смелой, чем революционная деятельность в Праге.

Здесь надо было учесть всю сложность международной политической обстановки, значение России, союзников, чаяния поляков.

Здесь приходилось начинать работу в условиях исключительно неблагоприятных.

Без денег, почти без знакомств, надо было бороться и говорить о чаяниях и требованиях *народа, о котором ничего, почти ничего не знали* заграницей.

Rue Leopold Robert. Маленькая квартирка в пятом этаже. И жизнь, полная лишений, самоограничений и упорной непрестанной работы.

Бенеш — как секретарь революционного заграничного чехо-словацкого комитета — руководит всей, все расширяющейся работой заграничных революционеров. Он и Штефаник,

ныне покойный, составляют декларации, ведут пропаганду, издают журналы, не уставая напоминать союзникам о правах и чаяниях чешского народа.

И эту борьбу ведет Бенеш не только во имя и ради своего народа, но и во имя лозунгов демократии, которые были положены в основу всего революционного чешского движения.

„Идеи демократизма, справедливости национальной и социальной были в конце концов всюду выразителями нашей национальной революции во время мировой войны.

Стоит лишь проследить конкретное развитие нашего революционного движения у нас на родине и за границей, стоит лишь рассмотреть его характерные черты, как сейчас же всюду наткнешься на эти идеи“.

„Вся наша литература в эпоху возрождения проникнута идеями революции, национальной свободы и демократических идеалов. И в современ-

ную нам эпоху литераторы и писатели наши остались верными своей великой традиции.

„Характер заграничной революции был тот же...

„Наша заграничная революция и наши солдаты шли за:

идеалом национальной самостоятельности,

идеалом антигабсбургским, антидинастическим,

идеалом республики, ибо развитие республиканства шло скорее, непосредственнее и неудержимее, как необходимое последствие нашего демократизма и отрицания Габсбургов“.

„У чешских революционеров была сознательная преемственность в исторических традициях. Гуситство, военное братство наших гуситов, демократизм этих войск и все послегуситские традиции чешских братьев, все это имело в представлении наших солдат огромное значение при создании вооруженного сопротивления. Это выразилось также в разных внешних фор-

мах в добровольческом войске, мы называли все друг друга „братьями“, все военные чины говорили друг другу „ты“, отношения солдат и офицеров были окрашены особым духом человечности и дружбы“. (Статьи Э. Бенеша).

И чешская армия, организованная Бенешем во Франции „имела две отличительных черты, которые клали на нее печать демократизма; это была добровольческая и политическая армия.

„Будучи эмигрантами, заграничные революционеры имели живую, непрерывную связь с родиной.

„Это не была олигархически организованная работа эмигрантов: наша великая сила была в том, что с самого начала при помощи Маффии мы были в сношениях с родиной и ее политическими деятелями, что мы не потеряли народных масс, что мы никогда не считали себя ничем иным, как представителями родины, и во

всей нашей работе только так и действовали...

„Важнее всего было для нас, чтобы политики на родине не осудили и не отвергли нас“.

Цель поставлена: ясная и конкретная.

И к этой цели — непрерывно, не отклоняясь в сторону — идет Бенеш.

А на родине новые аресты: арестован член Маффии писатель К. Душек, арестован Клофач, арестована жена Бенеша.

И точно в ответ на эти действия австро-венгерского правительства — Эдвард Бенеш пишет свою знаменитую, обратившую на себя внимание книжку „Détruisez l'Autriche-Hongrie“.

Это была своего рода декларация заграничных революционеров — которая ярко и определенно формулировала их требования: независимого чехо-словацкого государства.

И слова, которые нашел Бенеш, которые он сумел сказать, слова краткие и вместе с тем

простые — были одним из камней того фундамента, на котором соорганизовалась чехо-словацкая республика.

„Разрушьте Австро-Венгрию. Отнимите у Габсбургов возможность продолжать их зловредную политику. Освободите австрийских славян. Дайте возможность объединиться чехо-словакам и юго-славянам. Поймите, наконец, ваши интересы, поймите интересы Европы, поймите интересы всего человечества“. (стр. 71. „Détruisez l’Autriche-Hongrie.“)

Деятельность заграничных революционеров протекала в условиях необыкновенно тяжелых и сложных. И если проследить период, который отделяет приезд Бенеша в Париж (октябрь 1915 г.) от январской ноты Вильсона (1917 г.), в которой были признаны права чехо-словаков на независимость, приходится изумляться сделанному.

Постепенно неизвестный, почти неизвестный

дотоле народ, энергией нескольких лиц — начинает притягивать к себе всеобщее внимание.

Все больше и чаще начинают говорить о чехо-словаках видные общественные деятели Европы и Америки и среди них один из первых Бриан, которого личной встречей Бенеш сумел привлечь на сторону чехов.

Чехо-словацкий вопрос все яснее и отчетливей приобретает значение международной проблемы.

Наконец Бенешу удастся начать формирование чехо-словацких легионов.

Для Бенеша настает эпоха чрезвычайно трудной и ответственной работы. Необходимо было стянуть оставшихся добровольцев из иностранных легионов, с полей сражений, далее создать из них новые кадры, нужно было добиться концентрации во Франции чехо-словацких пленных, рассеянных по всей земле мелкими кучками и организовать между ними связь (*Сихрава*, стр. 34).

Результатом этой работы — первый дипломатический договор (16 дек. 1917 г.) договор, подписанный Клемансо и Бенешем, признающий чехо-словацкую армию независимой единицей.

К этому времени революционный комитет преобразован в Национальный Комитет. И по-

прежнему в нем было только трое лиц: М а с а р и к, Ш т е ф а н и к и Б е н е ш.

Работа все развивается и ширится.

Образование итальянских легионов, договор с итальянским правительством и, наконец, 2-го сентября 1918 г. Соединенные Штаты признают особым заявлением Чехо-Словацкий Национальный Совет правительством, которое ведет войну и которое имеет право руководить военными и политическими действиями.

Чехо-Словакия приобретает право голоса в решении международных вопросов.

Самая трудная часть пути была пройдена. Революционная деятельность Бенеша была закончена объявлением Национального Совета — Временным Правительством Чехо-Словацкой Республики и декларацией 18 октября 1918 г.

Так, за короткий — трехлетний — период — из ничего, энергией нескольких лиц, упорно работавших для достижения ясно намеченной цели, и умело использовавших сложную международную обстановку — создалась новая и чрезвычайно активная в международном отношении — организация.

Один вопрос в самом начале заграничной революционной деятельности встал перед Бенешем и требовал определенного ответа.

Отношение к России.

Всей душой Бенеш был расположен к России. И чувство его к русским особенно ярко проявилось во время войны.

Их поражение он переживал особенно тяжело. „Эти тысячи, десятки тысяч погибающих, близких братьев.

Дни, когда газеты извещали о поражениях на русском фронте или о жестоких боях, происходивших на востоке, были для меня самыми тяжелыми“.

Душой своей он был с Россией.

Но была не только Россия, было и царское правительство, недоверчиво относившееся к чехам, враждебно к демократическому Национальному Совету и склонное даже вести с последним борьбу.

Этот вопрос — отношение к России — вызывал у Бенеша переживания наиболее тяжелые и неприятные.

„Разбирая сущность нашей национальной революции мы должны отвести должное место русскому вопросу, ибо он имел значительное влияние на все наше движение, кроме того он принадлежит к разряду наиболее важных вопросов нашей политики, как в настоящем, так и в будущем“ (Статьи Э. Бенеша. стр. 197).

„Наше отношение к России было всегда весьма тяжелым из-за внутренних противоречий. Во время войны положение еще больше осложнилось. Россия была государством абсолютистским, царским, средневековым... Мы сами, насквозь проникнутые идеалами современного человека-гражданина, чувствовали в душе это противоречие — мы боялись царизма“.

„Наш простой солдат любил Россию, любовь к ней была привита у него еще дома, у него это были традиции и чувства, так как славянство, славянская политика, солидарность, стали у нас до известной степени символом веры...

Но наш солдат, придя в Россию, увидел, что там нас не знают, и он пережил многое, что потрясло его понимание славянской солидарности. Ибо вам известно, что наши солдаты, бывшие в плену в России, много страдали“ (стр. 198).

„Наши политические и военные учреждения в России, которые как и у остальных союзников, работали над организацией нашей армии и над созданием политических органов, скоро увидели, что официозная Россия не только не помогает им, но и не желает их работы и прямо ей мешает. Было установлено, что чешское революционное движение, благодаря своим демократическим стремлениям и политическим планам было во многих отношениях чрезвычайно неприятно царской, абсолютистской России.“

„Все различие между идеалами чехо-словаков и царской Россией выступало во всей своей наготе...

„Так наступил первый значительный кризис нашей народной революции,

корни которого находились в различных взглядах на Россию, зародившихся еще дома“... (стр. 199).

Между царским правительством и Национальным Советом происходил ряд недоразумений и конфликтов.

Национальный Совет, несмотря на свои политические расхождения с царским правительством, стоял за то, чтобы „идти совместно со всеми союзниками, в том числе и с Россией“...

„Русские же официальные круги, особенно военные, держались иного мнения. Они возражали против сосредоточения политической деятельности в Париже и сделали попытку основать особый, независимый от Парижа политический чехо-словацкий орган в Петрограде“ (стр. 200).

В самый критический момент, когда борьба между Национальным Советом и царским правительством готова была разгореться, вспыхнула русская революция. Положение мгновенно изменилось:

„либерально-буржуазная революция своими идеями, стремлениями и взглядами сошлась вполне со взглядами и

стремлениями нашими, и в тот момент — между нами и Россией настали идеальные отношения: идеологически мы боролись за одно, практически не было никаких помех для работы и казалось, что недоразумения между нами и Россией исчезли навсегда“,

И для Бенеша дни, когда были устранены недоразумения между Россией и Чехословакией были днями радости большой.

„Не было противоречий между логикой нашей и нашим чувством...“

Русский фронт стал разваливаться.

Среди чешских революционеров многие впадали в пессимизм.

Многие стали говорить о необходимости мирного разрешения с Австро-Венгрией чешского вопроса. Многие звали Национальный Совет к сепаратному миру.

„Как раз в этот тяжелый момент предметом всеобщего внимания оказался Бенеш, благодаря своему спокойствию, вере в успех славянского, непоколебимому оптимизму“ (стр. 31, *Сихрава*).

„Надо верить. Прочь скептицизм“.

И убедившись, что Россия выбывает из войны, что она теряет свои международные позиции, Бенеш с удвоенной энергией принимается за работу по укреплению положения Национального Совета.

Ибо теперь, более чем когда-либо — „остается полагаться только на самих себя“.

Трудности не могут остановить или испугать верующего в идею человека.

Трудности увеличивались. Казались непреодолимыми. И вместе с тем и задача, стоявшая перед Бенешем; приобретала более крупные, более грандиозные размеры.

Ибо надо было бороться не только за независимость Чехо-Словакии, не только за ее международное положение, но и защищать интересы Славянства.

И чем яснее становилось насколько глубоко и широко захватил большевицкий процесс Россию, чем определеннее вырисовывалась продолжительность этого процесса — тем все более очевидным становилась для Бенеша та роль, которая выпадет на долю Чехо-Словакии — в деле защиты и отстаивания общеславянских интересов.

Первая из целей, поставленных Бенешем,

была осуществлена. Благодаря удачному стечению обстоятельств, неумолимому ходу истории и энергии лиц, преданных революции — Чехословакия стала независимым государством. И тогда только смог перейти Бенеш к своей заветной мечте, к идее своих юношеских лет о служении всему человечеству.

Отныне он перестает себя чувствовать только чехом, только чешским революционером. Отныне он принадлежит не только своей нации, не только своему народу, отныне — он верный сын „Человечества“. И перед ним борьба за демократию, за принципы демократии и гуманности в общечеловеческом масштабе.

Весь период деятельности Эдварда Бенеша от Версальской Конференции мира и по нынешний день — неустанная, упорная и повседневная борьба за идеи, им провозглашенные.

Он попрежнему революционер и, быть может, еще более революционер, чем он был на Rue Leopold Robert.

На конференции мира Э. Бенеш пришел с ясно сформулированной программой, в основу которой были положены права народа на независимость и в которой интересы славянства получили свое выпуклое отображение.

„Д-р Бенеш проявил полное понимание политических вопросов европейского континента и большое умение сочетать пути своей родины с требованиями общей обстановки и общей задачи умиротворения“ (D-r Dillon. „The Peace Conference“. London. 1919).

И свою программу он проводил с настойчивостью, не уступая без борьбы малейшие из пунктов этой программы.

Защита принципов гуманизма, борьба с абсолютизмом и угнетением национальностей, борьба со всем тем, что противоречит идеалам демократии — таков был путь, по которому шел и идет Бенеш.

„Наши принципы покоились и покоятся на нашей вере в демократию и на нашем отрицании абсолютизма и аристократического строя со всеми его пережитками средневековья.

Мы чтим человеческую личность, и она служит нам отправным пунктом для нашей политики. Мы отрицаем всякое насилие, в какой бы форме оно ни выявлялось; насилие правительств предвоенной эпохи, насилие физическое или моральное, обязанное в наше время или шовинизму или доктринам незрелых революционеров и террористов.

Мы знаем, что существовали и будут существовать конфликты мнений и интересов между нациями, но мы хотим, чтобы эти конфликты разрешались путем демократическим, иначе говоря, посредством обмена мнениями и аргументами, идя путем логики и применяя методы, глубоко гуманитарные.

С точки зрения практической это значит, что мы желаем добиться как можно скорее — *политического мира*, дабы нация имела бы возможность залечить в наискратчайший срок экономические, социальные и моральные изъязвы причиненные войной (р. 9

„Cinq années de politique extérieure“, E. Beneš. 1924).

В полном соответствии с принципами гуманизма и демократизма вел Э. Бенеш все эти годы внешнюю политику Чехословацкой республики.

„Наша внешняя политика... ни разу не изменила своему высокому идеалу морали. Она стремилась быть — и я думаю, что она и была политикой действительно идеалистической и покоящейся на принципах морали“ (Ibid. 13).

Демократизация иностранной политики, борьба за эту демократизацию — такова одна из задач, поставленных Бенешем в его нынешней деятельности:

„дипломатия демократического режима как внешняя, так и внутренняя, должна считать своим основным принципом и всюду применять:

честность, реализм и суровое чувство правды (Бенеш, стр. 128).

„Единственное целесообразное оружие демократической дипломатии —

это защита правды, чувство права и честности.

Демократический дипломат никогда не должен вести политику престижа“, (стр. 129),

ибо

„дипломатия престижа является опасностью для мира“ (стр. 130).

К проблеме демократизации иностранной политики примыкает ближайшим образом — вопрос о междугосударственной демократизации, которая прежде всего сводится к взаимным отношениям великих и малых государств. И великая попытка провести эту демократизацию в жизнь была сделана в Лиге Наций.

„В действительности в этом и заключаются настоящие основы Лиги Наций, выраженные недостаточно формулой о постоянном мире. Мир может быть лишь результатом того, что народы и государства будут поставлены на один уровень и в их отношения будут введены демократические принципы и методы“ (стр. 133).

И Э. Бенеш — во имя принципов демократии и во имя всеобщего мира — ведет беспрестанную борьбу за Лигу Наций.

Эта борьба упорная и сложная — тем более необходимо ее вести.

„Борьба за Лигу Наций не может быть решена одной фразой, что вечный мир невозможен. Борьба за Лигу Наций — это борьба за принципы международной демократии, за новое человечество, за принципы гуманности и воспитание во имя всеобщей демократизации (стр. 131. *Речи Э. Бенеша*).

Идеализм и реализм.

„Идеалистический реализм“.

Он является базисом всей международной деятельности Э. Бенеша.

„Это великая борьба за точное и ясное творческое понимание эволюционных возможностей в будущем, борьба наших личных чувств и желаний, борьба во имя понимания и полного удовлетворения чувств и желаний окружающих.

Это борьба за совершенную гармонию научных и художественных основ политики, борьба, которая в той или иной детали может в данный момент оказаться несовершенной, но которая в целой своей линии имеет нравственные основы и будет иметь успех“.

В своей основе иностранная политика Бенеша „с этической точки зрения идеалистична в настоящем смысле этого слова. Ее источником являются идеи гуманности, национальной свободы и демократии.

Она отвергает материалистические концепции, неизбежно влекущие в своих последствиях к материальной силе и насилию вообще, также отвергает она националистическое авторитарство, какоснову внутренней и международной политики. И то и другое совершенно противоречит гуманитарному идеализму“ (ст. 151. *Речи Э. Бенеша*).

И перед нами ряд этапов конкретной борьбы Э. Бенеша за свои идеалы и принципы, за иде-

алы демократии и гуманизма, где организация малой Антанты, сближение славянских народов и отстаивание прав Лиги Наций — являются звеньями единого пути, который должен привести человечество ко всеобщему миру.

Не называя себя руссофилом или панславистом, Э. Бенеш в то же время практической задачей сегодняшнего дня поставил борьбу за объединение политическое и культурное славянства. И голос славянства, несмотря на выход временный России из круга международных наций, раздается авторитетно и уверенно. И начав с отказа от политики старого панславизма, Бенеш строит новую славянскую политику, на основах исповедуемых им демократических принципов.

Чрезвычайно скромный в своих привычках, ограничивающий себя во всем — он идет по пути, намеченному им и Судьбой:

Он не принадлежит себе. Он — слуга человечества.

Из неизвестности, из маленького чешского городка через жизнь, полную борьбы и лишений, он шел и идет по своему пути в поисках правды.

И правда эта не отвлеченная. Эта правда — не „Правда Вселенская“.

Правду повседневную, правду сегодняшнюю, правду реализуемую и осуществимую — ищет он.

И этот путь — путь правды повседневной — приводит его к Великому Пути Единой Правды.

И кажется ему, что путь его — предначертан и предуказан Судьбой и Высшим Провидением.

И кажется ему, что он только один из „малых сих“, один из чешских братьев, обреченных Богом на служение Человечеству.

ЯН ШТУРСА



Самое трудное. Почти невозможное.

Спокойно, не волнуясь, с улыбкой взглянуть
по ту сторону Жизни. Подняться по ступенькам
тяжелым — над Жизнью.

Склониться над пропастью Смерти и сказать громко и твердо:

„Нет“.

Сказать без надрыва, без протеста, без злобы и отчаянья.

Сказать от великой любви к Жизни, во имя Ее:

Сказать: „Нет“.

Стереть границу, столь резкую и ясную между „Да“ и „Нет“. Между Смертью и Жизнью. Меж бытием человеческим и Небытием. Во имя Великой Любви к Единой Жизни.

Это — дано не всякому. Немногим — единицам.

И когда Достоевский, в поисках разрешения этого извечного вопроса, подошел вплотную к душе человеческой — ужасом неудержимым и всеобъемлющим он был охвачен.

И устами Кириллова, маниака, проникнутого единой мыслью о смерти, Смерти-Жизни, признал он бессилие человеческое, свое, своего малого „я“ — перед страхом Смерти.

„И если поставят вас под огромной скалой, и будете знать, что обречены вы быть ею раздавлены, —

вы почувствуете страх, смертельный ужас перед грядущей болью.

И знаете вы отлично, что боли не почувствуете, ибо будет она продолжаться одну сотую долю секунды. Но страх животный и непобедимый, страх перед болью, будет владеть вами.

.
Жизнь есть боль; жизнь есть страх и человек несчастен. Теперь все боль и страх. Теперь человек жизнь любит потому, что боль и страх любит.

.
Кто победит боль и страх, тот сам бог будет.

.
Представьте камень такой величины, как с большой дом; он висит, а вы под ним; если он упадет на вас, на голову — будет вам больно“ (*Бесы*).

.
И Кириллов, который хотел подняться над жизнью, который решил спокойно и безразлично перешагнуть через порог жизни, был в последние свои предсмертные минуты охвачен безумием. Диким и животным.

Он умер, побежденный Смертью, не прижав Ее, боясь Ее.

И не он над Смертью, отнюдь не он, а Она, несуществующее в себе воплотившая, надругалась над бессилием и немощностью Земного Человека.

Достоевский не решил проблемы Смерти.

В своем страхе перед Смертью, окружил он человеческий инстинкт неприступной стеной. И казалось ему тщетной и суетной всякая попытка Человеческого Духа уничтожить, разрушить это человеческое свойство Человека-Зверя, природой ему дарованное.

И покорно, почти раболепно готов был признаться Достоевский в непобедимости инстинкта смерти — „силами малых сих“.

Мы люди и от черт исконно человеческих не имеем мы права отказываться. Не имеем права и не можем.

И однако это не так.

Не только можем. Не только право это имеем. Но целью своей, общечеловеческой — должны мы в исканиях духа своего это утвердить.

Пусть это достояние немногих. Тех единиц тех избранных, кто сильною волею и верою в Разум Всечеловеческий сможет преодолеть инстинкт зверя.

Ибо пока — душа наша в цепких руках ежедневного и ежеминутного страха смерти находится, пока — лучшие из нас, гении и творцы, рабами беспрекословными ползают на коленах перед Завтрашним Днем, днем Смерти, — человечество не выйдет, не может выйти из стадии своего животного бытия.

Проблема Смерти должна быть решена.

Инстинкт Смерти — страх перед ней должен быть побежденным.

Прошрое человечества нас учит, что надживненность и спокойствие души человеческой покоятся на Великой Вере, рожденной моралью.

Вера в себя.

Вера в истину непреложную.

Вера в нашу человечность.

И то, что сейчас многими забыто и отвергнуто, вновь и вновь должно быть воздвигнуто, как необходимая задача завтрашнего и сегодняшнего дня.

Кульг Духа.

Кульг Души Человеческой.

И через этот культ будет найдена дорога, которая позволит человеку победить инстинкт Смерти.

И кроме Культа Духа — мы зовем к Прагматизму.

К тому прагматизму, который позволяет человеку приподняться над жизнью, и спокойно, с усмешкой ласковой взглянуть на жизнь и смерть. Знак равенства должен быть поставлен — не для всех, для единиц — между „Да“ и „Нет“.

Не всеми. Немногими. Теми, кто „сможет“.

Преодоление Инстинкта Страх Смерти даст Человеку-Творцу ту яркость и глубину, ту „храбрость души“, которой владели некоторые из пророков.

Путь прагматизма — путь тяжелый и тернистый.

Путь — для сильных волей, для тех, кто задачей своей жизни поставил, хочет поставить культ Души Человеческой.

По этому пути могут идти избранные.

По этому пути должны идти те, кто отмечен Природой знаком гения, те, кто призван Жизнью

претворять ее волю в образы яркие, в формы людям понятные и близкие.

Ян Штурса — гениальный чешский скульптор, был побежден Жизнью. Побежден, после упорной, долгой борьбы.

Побежденный, вместе с тем он вышел из борьбы со смертью победителем.

Его жизнь, его творчество, его смерть рисуют нам удивительные страницы книги жизни. Где борьба между „Да“ и „Нет“ приняла формы чудовищно резкие. Где черное и белое линиями сугубо ясными отделяло вчерашнее от сегодняшнего. И где завтрашний день, лишенный Солнца и Творчества, казался могилой, беспросветной и темной.

Для большинства, для масс — жизнь компромисс, ежедневный, ежечасный. Уступки повседневности, поклоны земные тупости и пошлости. И лучшие из людей, закрывая глаза, твердят о желанной гармонии, довольствуясь соглашением с пошлостью.

Для единиц, для избранных, для тех, кто хочет приять жизнь всю, приять или отказаться от нее, для них есть только один путь.

„Путь Гармонии“.

И Штурса примером жизни своей и смерти показал, что душевная гармония — условие необходимейшее, для жизни человека —

„Человека-Творца“.

Их было четверо. Четверо мальчиков, жадных до жизни, живых, веселых, добрых в своих забавах, радостно воспринимающих мельчайшие светлые пятна деревенской жизни.

От детства осталась у них тяга к красоте, к лиризму жизни. И детство наложило отпечаток на всю жизнь этих четырех мальчиков из небольшого моравского городка.

„Нове Место“ — где родился 15 мая 1880 г. Ян Штурса — старинный городок, основанный в 1293 году, в царствование Вацлава II.

У „Нового Места“ свои традиции, предания, свои интересы. Наконец, свои особенные настроения, свой „культ“ Человеческой Души.

Из „Нового Места“ вышел ряд писателей и художников. Петр Кржичка, Ярослав Кржичка, А. Блага, К. Юда, Ф. Секанина и много других, которые ныне известны всей Чехии, родом из Нового Места.

И этим обстоятельством „Нове Место“ гордится, благодаря этому — традиции, своеобразные традиции высокой культуры господствовали в этом небольшом моравском городке.

И это отразилось на Яне Штурсе.

Выросший вместе со своим братом художником и братьями Кржичка, он с детства проявлял интерес к поэзии и искусству.

Он был очень беден. Почти нищий. Ибо его отец умер совсем разоренным, оставив детей без средств.

И детство Штурсы прошло в жестокой, непрерывной борьбе за существование.

Четыре года учится он в ремесленной школе в Горжицах. И здесь впервые знакомится с творчеством Билека, скульптуры которого производят на юношу сильное впечатление.

Но Билек чужд ему и непонятен. Религия

и отвлеченность его не волнуют, ему безразличны. Ибо Он — сын жизни.

И жизнь всю, как мать родную он принял, принял как нечто должное, неизбежное, как истину непреложную.

Его влечет к себе скульптура.

Первые робкие попытки его в этом направлении обрываются из-за жестокой необходимости зарабатывать право на существование. Свое и своей матери. Он едет в Германию и здесь работает на каменоломнях.

Он попадает в Берлин. Перед ним раскрывается новый мир, полный творчества, новых образов, другая жизнь — отличная от тихого быта его родного городка.

И вернувшись в Чехию в 1899, он поступает в Академию Художеств.

Так начинается новая страница его жизни.

20-тилетний Ян Штурса, рабочий-каменщик, решает стать скульптором. Решает и становится.

Он приехал в Прагу нищим, без знакомств, без твердой уверенности, что ему дадут воз-

можность учиться. И однако, ни минуты у него не было колебаний.

— Я должен учиться, — говорил он своей матери, — и буду учиться.

„Искусство — это ремесло! Через упорную ежедневную ремесленную работу можно только прийти к настоящему, подлинному искусству“. Он отличается всегда, с детства упорством в стремлении достигнуть цели, им поставленной.

Еще мальчиком, учеником ремесленной школы, решил он стать скульптором, и несмотря на казалось, непреодолимые препятствия он не умолимо шел к осуществлению своих желаний.

Своего — желания-решения.

Вместе с тем он любил жизнь.

От жизни хотел он взять все, что только может она дать.

Любовь, солнце, красоту, радость здорового тела всегда и повсюду искал он в жизни.

Спортсмен, футболист, добрый товарищ, веселый с людьми, жадный до красоты и радости, преисполненный своеобразного жизненного ли-

ризма, он в искусстве, „своем“ искусстве, стремится воплотить великую многоликость и многогранность единой жизни.

„Жизнь — творчество“.

Знак равенства он ставит твердой рукой между этими двумя словами.

„Только творя, непрестанно и неумолчно живет жизнью человек“.

И только любя жизнь, любя ее без ума, безрассудно, ощущая ее всем своим существом ежесекундно — обучаешься подлинному творчеству.

И после короткого периода импрессионизма, не оставившего заметного следа на творчестве Штурсы, он провозглашает себя реалистом. Он перестает быть учеником и, освободившись от чужого влияния, он утверждает себя, свою волю, свои желания в жизни.

Он покидает в 1903 году Академию, пробыв в классе проф. Мысльбека около четырех лет.

Здесь он нашел себя. Познал себя, как артист, осознал свое „я“.

И снова борьба за существование.

Почти без знакомств, без имени, с несколь-

кими незначительными и мало что говорящими Работами, он должен победить.

„Не только Прагу, не только Европу но и весь мир“.

Он не боялся борьбы и бедности, нужда не смущала его, не мешала ему работать.

Неизменно бодрый, он становился еще бодрее и веселее в дни, когда борьба за существование становилась сугубо тяжелой.

Весь 1904 год он работает штукатуром-рабочим. И, заработав небольшую сумму, Штурса возвращается к тому, что сейчас заполнило всю его душу.

„Через красоту тела одухотворенного, через Любовь, телом воспринятую — прославлять Жизнь-Творчество“.

И тело, человеческое, привлекло его внимание. Ибо казалось ему, что гармония полнейшая, в частях мельчайших, та гармония, что не может быть достигнутой в наилучших машинах, — что эта гармония принадлежность неотъемлемая человеческого тела.

И в формах различных женского тела устанавливает Штурса гармонию жизни.

Он создает „Puberla“. Это нескладное внешне, но великое в своей потенции, пьяное от гря-

душей радости негармоническое тело девушки-подростка.

Жизнь это радость. Это любовь.

И через радость-любовь рождается гармония. Извечное движение. Беспредельное, непрерывное претворение жизни в новые формы, новые линии. И скульптура Штурсы этого периода отмечена этим чудесным свойством гениальности. Движением.

„Меланхолическая девушка“, созданная в 1906, не только ярка в своей страсти к жизни и чудесными по красоте и гармонии чертами тела, но ритмом своего движения неутомимого даже в своей неподвижности. Его „Primavera“ — где любовь завтра должна сказать свое властное слово и вызвать к жизни еще невыявленные настроения. Его „Экстаз“, его „Купанье в лесу“ (1908) и наконец его Ева и Sulamit Rahu — есть гимн женской красоте, женскому телу, как подлинному и всесовершенному отражению Гармонии Жизни.

Но последние произведения этого периода творчества Штурсы отмечены сугубым, подчеркнутым,

я бы сказал, нарочитым преклонением перед телом человеческим. Тело теряет свой одухотворенный характер, свою стилизованную гармонию между телом и душой.

Остается только Тело. Пьяное от радости чисто плотской, хмельное от любви и от сознания своего беспредельного всепреодолевающего здоровья. Эта нарочитость заметна уже в его *Sulamit Rahu*, танцующей танцы живота, развлекающей толпу возбужденных людей.

Но эта животность, эта подчеркнутая наземность человеческого тела уже ярко отмечена в его фигурах на Главковом мосту. Мужская фигура, изображающая его самого, — олицетворение уверенного в себе Человека-Зверя.

Мощные мускулы, хищные руки. Гармония звериного тела, радостного в своей сытости. Его „Женщина с дельфином“ (1912), его Мессалина (1913) и, наконец, как завершение этого периода его творчества „Памятник сельского восстания в Дольнем Уезде“. Утерян человек. Его нет.

Утеряна гармония Души и Тела.

Исчез культ Души. Культ Высшей Радости.

Штурса отказался от Богочеловека и принял Человека-Зверя.

Он отошел от пути, единственно разрешенного

Великому Творцу, от пути Культа Человеческой Души, и избрал опасную дорогу наземной радости.

От реализма в Боге, от реализма, признающего Интеллект, он спустился до реализма наземного. Отказавшись от пути единой гармонии Штурса неминуемо — таковы законы биологии — должен был потерять радость творчества. Это было началом его трагедии.

В 1912 году Штурса едет в Париж. Здесь, в центре артистических исканий, он начинает впервые сознавать свою раздвоенность.

Он не доволен Парижем.

Он был не доволен Парижем, но он не смог преодолеть влияния французских скульпторов. И на некоторых произведениях последнего периода его творчества можно проследить интерес Штурсы к творчеству Бурдена и Майоля.

Его Памятник Св. Чеху на Кр. Виноградах, его „Икар“ чрезвычайно в этом отношении характерны. И наряду с этими, чисто Бурденевскими композициями, мы имеем такую исключительно самобытную скульптуру, как „Играющий на нинере“, созданный им в 1918 г. Не только движение, не передающееся описанию, но кажется — вновь

обретена утерянная гармония. Гармония между телом и душой.

Только кажется.

Ибо гармония утеряна навсегда.

Раздвоенный, уже неудовольствованный собой и своим творчеством, смущенный Парижем и формами исканий французских скульпторов, Ян Штурса был поставлен войной лицом к смерти.

Он не был солдатом. Он не сражался на фронте. Но, мобилизованный, он мог ежедневно наблюдать смерть.

Смерть человека. Смерть обычного, серого, рядового человека. И впервые мысль его, радостного жизнью и счастьем ежедневного существования, стала искать разрешения проблемы смерти.

Впервые смерть, как небытие, как отрицание всего существующего, как отрицание его, человека, начала волновать Штурсу.

Он создает своего „Раненого“ (1917).

Человек ранен. И миг короткий, одна тысячная секунды отделяет его от смерти. Он еще не упал. Он еще весь в жизни. И по удивительнейшей энергии — движением охвачено все его тело.

Но — тысячная доля секунды должна пройти.

Он упадет. Он падает.

Где же граница Жизни и Смерти!

Где движение Жизни переходит в движение Смерти!

Штурса ищет отвлечения от своих мыслей в яростной, усиленной работе. Выбранный в 1916 г. профессором в Академию Художеств на место ушедшего в отставку Мысльбека, он поставлен теперь в условия, особенно благоприятные для творческой деятельности.

Но нет единства, нет цельности в его творчестве последних лет его жизни.

Ряд бюстов-голов на Легиобанке, начатый памятник Коменскому в Амстердаме, начатый бюст Масарика, много неоконченных или полуоконченных вещей.

Гениальность и простота наряду с искусственностью и надуманностью, тщательность отделки, столь характерная для Штурсы, бок о бок с отказом от деталей, от артистической обработки.

Мысль о смерти все сильнее и сильнее волнует Штурсу. Он думает о своем здоровье. Ему кажется, что он болен. Он чувствует усталость, упадок сил. Он начинает бояться, что мощностъ его творческаго таланта может исчезнуть.

Работа не дает ему уже более удовлетворения. Нередко начатую и законченную только вчерне скульптуру он передает своим ученикам.

Не все ли равно! Как-нибудь! Сойдет!

Он окончательно теряет себя.

Цельная, яркая натура. Гениальная в своих творческих исканиях. Сильная своей железной волей — воспринимала жизнь, как одно целое. Как единую правду.

„Гармония, но не компромисс“

И силою своего таланта, в поисках вечной гармонии, дал Штурса яркие образы человеческой красоты.

Но, приняв Жизнь, он забыл о Смерти. И когда, притянутый землею, все дальше и дальше отклоняясь от красоты Богочеловека, он неожиданно встал лицом к лицу перед Смертью, то, подобно Достоевскому, он убоялся Ее.

Страх Смерти, ужасный, подлый в своем сладострастии, крепко захватил душу скульптора.

Повседневность еще была сильна. Повседневность звала его на борьбу с Инстинктом.

Повседневность сулила Штурсе победу.

Но мог ли Штурса принять повседневность.

Принять компромисс, согласиться на то, что шло вразрез со всем его прошлым, со свойствами основными его натуры.

Иногда ему кажется, что все обойдется.

Он собирается во Францию. В Ниццу.

Он пишет своему другу, художнику О. Неелому — просит снять ему виллу.

И вслед за этим пишет другое:

— Не хочет ехать. Решил лечь в больницу.

Он едет в Брно. И хотя врачи убеждали его в том, что он здоров, что у него только неврастения — он ложится в больницу. Он выходит оттуда убежденным в своем здоровье. И своей жене, радостный, сообщает:

„Ведь я здоров. Врачи признали меня здоровым. Я могу работать, я буду снова работать.“

Но уже вечером, в день возвращения в Прагу, сомнения снова им овладевают. Ему кажется, что все кончено. Кажется, что способность работать, творить, утеряна им окончательно. И даже руки кажутся ему более тяжелыми и неподвижными. Он подолгу беседует со своей женой и другом своим, Неедлым, о своей „болезни“. И когда удастся им убедить его в предвзятости его мысли о болезни, он, как ребенок, радуется. Веселится и словно старается наружным своим видом разрушить собственные сомнения.

В феврале 1925 года он снова возвращается в Брно в клинику и снова консилиум врачей признает его здоровым.

— „Нет органического заболевания. Психостения“.

Но Штурса хочет лечиться. Хочет остаться в клинике. 26 апреля он возвращается в Прагу, недовольный собой, расстроенный, чувствующий себя еще более больным.

Вечером его охватывает отчаяние.

Он готов снова бежать на вокзал и ехать в Брно. Его успокаивают, утешают.

„Это не жизнь! Я боюсь потерять способность творить, способность работать“.

27-го утром он идет в Академию. Смотрит работы учеников. Проходит в свою студию и велит служителю привести в порядок неоконченные работы:

Долго смотрит на бюст Масарика и говорит служителю:

„Много работы. Много работы — надо энергично приняться за дело“.

Просит его принести ему завтрак.

Служитель уходит. Штурса запирает дверь.

Подходит к зеркалу.

Все решено. Все подытожено. Должно совершиться неизбежное:

Отвергнув Жизнь — принять Смерть.

Но инстинкт Жизни сильнее воли. Минуты, быть может секунды колебаний.

Нет сил смотреть в зеркало. Смотреть прямо в глаза завтрашнему ничто.

Я — который есмь.

Я — Существующий и Живущий, Говорящий и Творящий. Я Человек. И вдруг Ничто. Маленький круглый, несоизмеримый ни с чем ноль.

И он отвернулся от зеркала. И рука, держащая револьвер приставленным к уху — по закону

неумолимому сделала маленькое — маленькое движение — нажала курок.

И в последний момент рука слегка качнулась, содрогнулась и дуло револьвера опустилось.

Служитель вернулся через несколько минут.
Шесть — семь.

Дверь была заперта. А за дверью тихо.

Служитель другим ключом отворил дверь.

У зеркала, без сознания лежал Ян Штурса.

На столе, написанная чернилами, лежала записка.

*„Маменька, Божена и Вы друзья —
простите меня, ибо боялся быть вам
в тягость“.*

Пуля маленькая, револьверная, была найдена слегка сплюсненной высоко на шкафу.

2-го мая 1925 года на своей квартире, не приходя в сознание, Ян Штурса умер.

Путь Человека искавшего Гармонию Вечности.
Не только искавшего, но и нашедшего.

Путь Человека — побежденного Жизнью-Повседневностью.

Власть тела, Власть повседневных наслаждений от Гармонии Единой и Вечной привела его к двойственности, к сомнениям, к Смерти.

И Смерть была признанием Неправды Повседневности — Самоосуждением.

Люди тоскуют. Люди ищут.

И в поисках Правды бродят по безразличной, над ними смеющейся Земле.

Сиротливые — ибо поиски Правды — это доля немногих.

Только некоторых.

Доля — Братьев Вечности.

От истоков рода человеческого Жизнь-Интеллекия ищет Слова.

Ясного и простого.

Слова — умеющего исцелить тоску человеческую, дать счастье Гармонии.

Творчество Человеческое — Святое Святых Энтелехии.

И нет пути иного у Нее — о желаниях своих вещать Человечеству, кроме проявлений Творчества Человеческого.

Суть жизни, наисокровеннейшие тайны ее открываются нам через нареченных Судьбой Братством Вечности через Братьев рода Единого.

Но смеется земля дерзко и зло, над избранниками Неба

„Гармония Вечности!...

„Цельность Души!“...

„Познание Бога!..

„Творчество Правды Единой!..

Смеется и властно их зовет к повседневной земной радости.

И вместе с повседневностью в душе Человека — рождаются серые пятна Земли.

Любовь, опьянение телом, запах чернозема и сена.

Пятна ширятся.

Пятна темнеют.

Рождается страх Смерти — утеряна Гармония Вечности.

И творчество перестает быть откровением
Энтелехии.

Кривая усмешка Земли.

Трагедия Штурсы — трагедия всякого, кто
должен творить.

Трагедия порожденная борьбой между стрем-
лением творческих сил к Гармонии и Вечности
и силами Земли — радостями и печальми По-
вседневности.

Но большинство идет по пути соглашения —
остаться сынами Энтелехии и чертить знаки
будней!!

Штурса отверг этот путь.

Он жаждал до боли, до безумия — Гармо-
нии Вечности и, потеряв ее, приобщившись к
Жизни Повседневной, отдав частицу души своей
и таланты Земной Любви, он должен был
сказать:

Нет

И было это отказом от жизни. Его жизни.

Но смерть его не была приятием Смерти.

Смерть его была отказом от Жизни, потерявшей свою гармонию, свое единство в творчестве и восприятии.

Натура яркая, гениальная, единая в своем творчестве жизни, принявшее бытие свое, как непрерывность творческого акта — Ян Штурса ушел от жизни, не пожелав соглашения с повседневным и будничным.

Он был побежден Жизнью.

Ибо знал он, что, приобщенный к повседневности, утерчет он гениальность своего творчества и цельность своего художественного восприятия.

Уйдя от жизни, он сохранил себя.



СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	9
В Старой Праге	15
Франтишек Билек	21
Томаш Гарриг Масарик	41
Отакар Бржезина	95
Эдвард Бенеш	123
Ян Штурса	195

6,69
1986

р
л 5095

ПЛАМЯ

Центральные склады

Р Л А М Ј А

Praha II., Ječná 32

—
Р Л А М Ј А

Warszawa Niecala 4

1056
7575 Борис Соколов
**ОТЕХ, КТО
ИЩЕТ**



**ПЛАМЯ
ПРАГА**